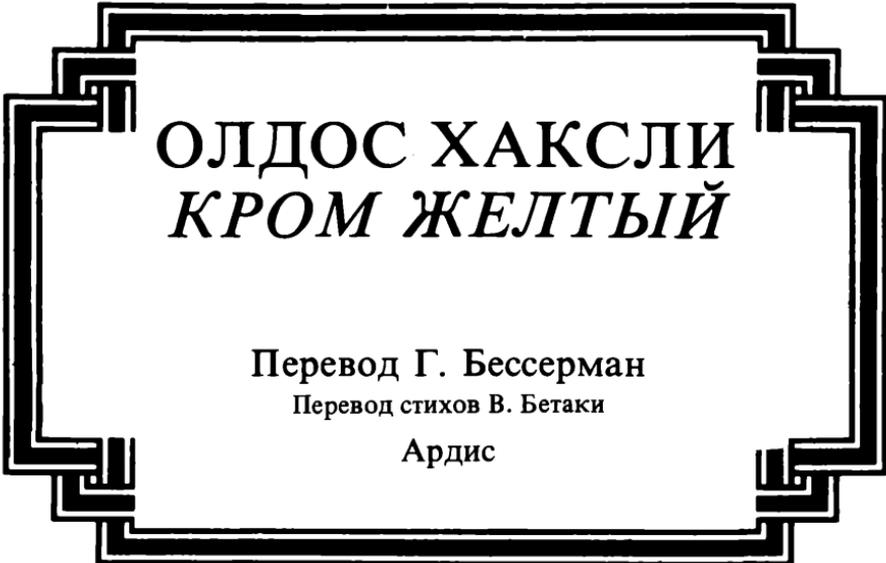




Олдос Хаксли  
КРОМ  
ЖЕЛТЫЙ





A decorative frame with multiple overlapping rectangular borders, each with a slightly offset corner, creating a stepped effect. The frame is black and white.

ОЛДОС ХАКСЛИ  
*КРОМ ЖЕЛТЫЙ*

Перевод Г. Бессерман

Перевод стихов В. Бетаки

Ардис

**Aldous Huxley, Chrome Yellow**  
**Translation into Russian by G. Besserman**  
**Translation of poetry by V. Betaki**

**Copyright © 1983 by Ardis**

**Printed with the permission of Laura Huxley.**

**All rights reserved. No part of this publication  
may be reproduced or transmitted in any form  
or by any means without the written permission  
of the publisher.**

**Ardis Publishers**  
**2901 Heatherway**  
**Ann Arbor, Michigan 48104**

**ISBN 0-88233-660-6 (cloth)**  
**ISBN 0-88233-661-4 (paper)**

**КРОМ ЖЕЛТЫЙ**



## Глава 1

На этой линии никогда не ходил скорый. Поезда — а их было немного — останавливались на всех станциях, названия которых Дэнис знал наизусть Боул, Триттон, Спейвин, Делавар, Нипсвич, Вест Баулби и, наконец, Камлет. Именно на этой станции он всегда выходил, а поезд продолжал лениво тащиться уже без него неведомо куда, в зеленую глуть Англии.

Сейчас поезд с Дэнисом, пыхтя, отходил от Вест Баулби. Слава Богу, на следующей выходить. Дэнис снял с полки вещи и аккуратно сложил их в углу напротив себя. Лишняя работа. Но нужно чем-то заняться. Закончив, он снова опустился на мягкое сиденье и закрыл глаза. Было очень жарко.

Ох, эта дорога! Два часа, начисто вычеркнутых из жизни; два часа, за которые он мог бы сделать так много... написать целое стихотворение, например, или прочесть умную книгу. А вместо этого... Его затошнило от запаха пыльных подушек вагонного сиденья.

Два часа. Сто двадцать минут. За это время можно совершить все что угодно. Все что угодно. Но нет. У него были сотни часов, а что он сделал? Растратил их, расточил драгоценные минуты, как будто у него был неисчерпаемый запас их. Дэнис мысленно застонал и беспощадно осудил и себя, и все свое поведение. Какое право он имел греться на солнце, занимать сидячие места в вагонах третьего класса, вообще жить? Никакого, никакого, никакого.

Его охватило ощущение собственного ничтожества и какой-то невыразимой тоски. Ему было двадцать три года, и о, с какой болезненной остротой он сознавал это!

Поезд резко затормозил. До Камлета он добрался, по крайней мере. Дэнис вскочил, нахлобучил шляпу на самые глаза, разбросал сложенный багаж, выглянул из окна и крикнул носильщика, схватил в обе руки по чемодану, но ему пришлось снова поставить их, чтобы открыть дверь. Благополучно вывалившись, наконец, на платформу вместе со своим багажом, он побежал вперед к багажному вагону.

"Велосипед, велосипед!" — задыхаясь, сказал он кондуктору. Он почувствовал себя человеком действия. Кондуктор не обратил внимания и продолжал методически подавать по одному тюки, предназначенные для выгрузки в Камлете. "Велосипед!" — повторил Дэнис. "Зеленый велосипед на имя Стоуна. Сто-ун".

”Все в свое время, сэр,” — произнес кондуктор успокаивающе. Это был большой представительный мужчина со шкиперской бородой. Можно было легко представить себе, как он дома пьет чай, окруженный многочисленным семейством. Должно быть, таким тоном он говорит со своими детьми, когда они докучают ему. ”Все в свое время, сэр”. Человек действия в Денисе зашипел и съезжился.

Он оставил багаж в камере хранения и отправился на велосипеде. Выезжая за город, Денис всегда брал с собой велосипед. Это было частью теории о физической закалке. Однажды он подымается в шесть часов и отправляется на велосипеде в Кенилуорт или Стратфорд-на-Эвоне — куда угодно.

А во время послеполуденных экскурсий в радиусе двадцати миль ему постоянно будут попадаться норманнские церкви и тюдоровские замки. Они почему-то никогда не попадались, но все равно было приятно чувствовать, что велосипед здесь и что в одно прекрасное утро он в самом деле может подняться в шесть утра.

Оказавшись на вершине длинного холма, который начинался от самой станции, он почувствовал, что у него поднимается настроение. Он признал, что мир хорош. И эти голубые холмы вдали, и созревшие колосья, белеющие на склонах горы, вдоль которой пролегал его путь, и безлесая линия горизонта, менявшаяся по мере его продвижения — да, все это было хорошо. Его захватила красота этих глубоких оврагов, которые изрезали склоны горы под ним. Склоны, склоны — он медленно повторял это слово, стараясь одновременно найти такое понятие, которое бы выразило его восхищение. Нет, склоны — это не то. Он взмахнул рукой, как бы желая зачерпнуть нужное выражение из воздуха, и едва не упал с велосипеда. Каким словом можно описать склоны этих маленьких долин. Они были красивы, как линии человеческого тела, они были пронизаны изяществом произведений искусства...

Galbe. Это хорошее слово, только французское. *Le galbe évasé de ses hanches* — приходилось ли кому-нибудь читать французский роман, в котором бы не встречалась эта фраза? Когда-нибудь он составит словарь для писателей. Galbe, *goufflé, goulu: parfum, peau, revers; potele, pudeur: vertu, volupté.*

Но он в самом деле должен найти это слово. Склоны, склоны... Эти маленькие долины имели очертания чаши, отлитой по форме женской груди. Они казались следами, оставленными могучим телом божества, которое некогда прилегло на этих холмах. Образы неуклюжи, но благодаря им, он, кажется, приблизился к тому, чего искал. Холмистый, холодный, свободный — его мысли блуждали по гулким коридорам созвучий и аллитераций все дальше и дальше от отправной точки. Он был влюблен в красоту слов.

Снова возвратившись на землю, он обнаружил, что находится

в начале спуска. Дорога круто и прямо ныряла вниз в большую долину. Там, на противоположном склоне, несколько возвышаясь над долиной, стоял Кром — цель его путешествия. Он нажал на тормоза; вид Крома был приятен, и здесь стоило задержаться. Фасад стремительно вырастал своими тремя башнями из-за темных деревьев сада. Дом купался в ярком солнечном свете; старый кирпич излучал розовое сияние. Как пышно все здесь зрело, с какой роскошной щедростью! И в то же время, какая строгость! Холм становился все круче и круче, и велосипед набирал скорость, несмотря на тормоза. Он отпустил рычаги и через мгновение уже стремительно мчался вниз. Через пять минут он въезжал в ворота большого двора. Парадная дверь была гостеприимно открыта. Он прислонил велосипед к стене и вошел. Он захватит их врасплох.

## Глава 2

Никого он не захватил врасплох; некого было захватывать. Все было тихо. Дэнис бродил из одной пустой комнаты в другую, с удовольствием глядя на знакомые картины и мебель, на все те маленькие отклонения от порядка, видневшиеся повсюду и свидетельствующие о жизни. Он был даже рад, что в доме никого нет; было забавно бродить по всему дому, как бы исследуя мертвую, покинутую Помпею. Какую жизнь восстановит археолог из этих остатков прошлого, и какими людьми населит он пустые комнаты? Перед ним была длинная картинная галерея с ее рядами респектабельных и (хотя, конечно, об этом нельзя было говорить вслух) наводящих тоску итальянских примитивистов, с китайскими статуэтками и скромной мебелью неизвестной эпохи. Далее шла увешенная панно гостиная, где стояли кресла, обитые ситцем, эти оазисы комфорта среди строгих, призывающих к умерщвлению плоти, древностей. Дальше была малая гостиная с ее бледно-лимонными стенами, крашеными венецианскими стульями и столами в стиле рококо, с ее зеркалами и современной живописью. Затем — библиотека, прохладная, просторная и темная, от пола до потолка уставленная книгами и изобиловавшая внушительными фолиантами. Еще дальше столовая, по-английски основательная и солидная, с ее огромным столом орехового дерева, с ее стульями, буфетом и картинами XVIII века, семейными портретами, тщательно выписанными изображениями животных. Что можно было воссоздать на основании таких данных? В длинной картинной галерее и библиотеке было много от Генри Уимбуша, а в малой гостиной, вероятно, что-то от Анны. Вот и все. Среди всего, что накопили десять поколений, живущие почти не оставили следов.

Он заметил книгу своих стихов, которая лежала на столе в малой гостиной. Как это тактично! Он взял ее в руки и открыл. Подобные книги критики называют: "Небольшой томик стихов". Он прочел наугад:

Молчанье и бескрайний мрак  
Накрыли сводом луна-парк,  
Лишь Блэкпул среди мглы ночной  
Был — как могила под луной...

Он положил книгу на место, покачал головой и вздохнул. "Каким гением я был тогда", — подумал он, цитируя состарившегося Свифта. Прошло около шести месяцев с тех пор, как книга была напечатана. Ему было приятно думать, что он никогда больше не напишет ничего подобного. Кто бы это мог ее читать — подумал он. Вероятно, Анна. Мысль ему понравилась. Кроме того, возможно она, наконец, узнала себя в гамадриаде молодой осины, стройной лесной нимфе, движения которой напоминали раскачивание молодого деревца на ветру. "Женщина, которая была деревом" — так Дэнис назвал это стихотворение. Он дал Анне эту книгу сразу же, как только она была напечатана, надеясь, что стихи ей скажут то, в чем он сам не смел признаться. Она никогда не упоминала о книге.

Дэнис закрыл глаза и увидел перед собой Анну в красном бархатном плаще. С опозданием на три четверти часа она входит, покачиваясь, в маленький ресторан, где они иногда обедали вместе в Лондоне. А он сидит за столом, измученный нетерпением, раздражением, голодом. Черт бы ее побрал!

Ему пришло в голову, что хозяйка дома, возможно, находится в своем будуаре. Во всяком случае нужно пойти и посмотреть. Будуар миссис Уимбуш находился в центральной башне и выходил в сад. Из зала туда вела маленькая винтовая лестница. Дэнис поднялся и постучал в дверь. "Войдите". О, так она здесь; он предпочел бы, чтобы ее не было. Он открыл дверь.

На диване лежала Присилла Уимбуш. На коленях у нее был бювар, и она задумчиво сосала конец серебряного карандаша.

"Привет, — сказала она, поднимая на него глаза. — Я и забыла, что вы приедете."

"Боюсь, что я уже здесь, — ответил Дэнис извиняющимся тоном. — Весьма сожалею."

Миссис Уимбуш рассмеялась. Ее голос и смех звучали низко, по-мужски. В ней все было мужским. Большое квадратное еще не старое лицо с массивным выступающим носом и маленькими зеленоватыми глазами. Над всем этим возвышалась величественная, тщательно сделанная прическа, причем волосы имели странный неестественный оранжевый оттенок. Глядя на нее, Дэнис всегда вспоминал Уилки Барда, изображающего певцу.

Потому-то и пошла я  
В оперу петь, в оперу петь,  
В опе-пе-пе, в опе-пе-пе,  
В опе-пе-пе-перу петь!

Сегодня на ней было новое парадное платье с высоким воротником и с ниткой жемчуга. Это одеяние, такое царственно-пышное,

наводившее на мысль о королевской семье, делало ее более, чем обычно, похожей на персонаж из какого-то водевиля.

”Чем вы занимались все это время?”

”Что ж”, — начал Дэнис и остановился, испытывая почти чувственное волнение. В его голове уже созрел и просился наружу необычайно забавный отчет о Лондоне и его событиях. ”Начать с того,” — сказал он...

Но было поздно. Вопрос миссис Уимбуш был тем, что в грамматике называется риторическим. Он не требовал ответа. Это был маленький цветок красноречия, ход в игре в учтивость.

”Вы застали меня за моими гороскопами”, — сказала она, даже не подозревая, что перебила его.

Несколько уязвленный, Дэнис решил приберечь свой рассказ для более внимательных ушей. Он удовольствовался мстостью, сказав довольно холодно: ”Да?”

”Я вам рассказывала, как я выиграла в этом году четыреста фунтов на Больших Национальных?”

”Да”, — ответил он все еще холодно и односложно. Она рассказывала ему об этом, наверное, не меньше шести раз.

”Чудесно, не правда ли? Все зависит от Звезд. В Былые Дни, еще до того, как мне помогали Звезды, я проигрывала тысячи. Теперь же, — она умолкла на мгновение, — вот, смотрите, четыреста фунтов на Больших Национальных. И все это благодаря Звездам.”

Дэнис хотел бы побольше услышать о Былых Днях. Но он был слишком скромн и еще более застенчив, чтобы спрашивать. Там было что-то вроде банкротства; вот все, что он знал. Старая Присилла — разумеется, в те времена она была не такой старой и более подвижной — растратила немало денег, она швыряла их направо и налево, играя на всех скачках, которые только состоялись в стране. Кроме того, она играла в карты. В разных легендах называлось различное число тысяч, но всегда это была большая цифра. Генри Уимбушу пришлось продать американцам несколько своих примитивистов — одного Таддео да Поджибонси, одного Амико ди Таддео и четыре или пять картин неизвестных сиенских мастеров. Это была последняя капля. Впервые в жизни Генри заявил о своих правах и, повидимому, ему стоило немалых усилий их отстаить.

Веселому бродячему существованию Присиллы неожиданно пришел конец. В настоящее время она почти постоянно жила в Кроне, где лечилась от какой-то неопределенной болезни. От нечего делать она утешалась Новой Мыслью и Оккультизмом.

Стать к скачкам все еще владела ею, и Генри, который в сущности был человеком добродушным, выделял ей сорок фунтов игровых денег в месяц. Большую часть своих дней Присилла составляла гороскопы лошадей и вкладывала свои деньги на научной основе,

руководствуясь повелениями звезд. Она играла также и на футбольных состязаниях и имела большой блокнот, в который были занесены гороскопы всех игроков всех команд футбольной лиги. Сопоставление гороскопов двух левых крайних было делом очень трудным, требующим осторожности. Какой-нибудь матч между Шпорами и Виллами был причиной столь остро и запутанного конфликта в небесах, что не было ничего удивительного, если она иногда и ошибалась относительно исхода.

”Мне просто жаль, что вы не верите в эти вещи, Дэнис, просто жаль”, — говорила миссис Уимбуш своим низким, отчетливым голосом.

”Не могу сказать того же о себе”.

”О, это потому, что вы не знаете, что значит верить. Вы даже не представляете, какой интересной, захватывающей становится жизнь, когда веришь. Все происходящее имеет какое-то значение; что бы вы ни делали, не исчезает бесследно. Понимаете, это делает жизнь восхитительной. Вот, например, я в Кроме. Вы наверное думаете: жизнь серая, как вода в канаве; но я так не считаю. Я нисколько не жалею о Былых Днях. У меня есть Звезды...” Она взяла листок бумаги, лежавший на бюваре. ”Гороскоп Инмана, — объяснила она (Я думала этой осенью немножко развлечься на бильярдном чемпионате). Я должна поддерживать связь с Бесконечным, — она помахала рукой. — Кроме того потусторонний мир и все духи, Аура, миссис Иди и необходимость внушать себе, что я не больна, Христианские Мистерии и миссис Безант. Все это чудесно. Не приходится скучать ни минуты. Не могу себе представить, как я обходилась без всего этого раньше, в Былые Дни. Удовольствие — суетиться, и больше ничего; только суетиться. Каждый день завтрак, чай, обед, театр, ужин. Разумеется, это было забавно, пока длилось. Но проку от этого было не так уж много. Об этом довольно хорошо сказано в новой книге Барбикью-Смита. Где же она?”

Присилла уселась прямо и потянулась за книгой, которая лежала на столике у изголовья дивана.

”Кстати, вы знаете его?” — спросила она.

”Кого?”

”Мистера Барбикью-Смита”.

Дэнис знал о нем немного. Имя Барбикью-Смита попадалось в воскресных газетах. Он писал о Жизненных Правилах. Он мог даже быть автором книги ”Что следует знать молодой девушке”.

”Нет, мы не знакомы”, — ответил он.

”Я пригласила его сюда на субботу и воскресенье”. Она начала листать книгу. ”Вот место, которое я имела в виду. Я отметила его. Я всегда отмечаю места, которые мне нравятся”.

Держа книгу почти на расстоянии вытянутой руки (она была несколько дальнозоркой) и делая соответствующие жесты свободной,

она принялась медленно, драматически читать.

”К чему меха, стоящие тысячи фунтов, к чему четвертьмиллионные доходы?” Актерским движением головы она оторвала глаза от страницы. Ее оранжевая прическа величественно кивнула. Дэнис с восхищением смотрел на нее. Что это, естественное и хна, колебался он, или же один из постоянно рекламируемых Совершенных Париков.

”К чему троны и скипетры?”

Оранжевый Парик — да, скорее всего, это парик — опять подпрыгнул.

”К чему увеселения Богатых, блеск Власть Имущих, гордыня Великих, к чему безудержные наслаждения Высшего Общества?” Голос, постепенно поднимавшийся в вопросительной интонации от предложения к предложению, внезапно опустился и прогудел ответ.

”Они напрасны. Тщеславие, пыль, семя одуванчика на ветру, испарения лихорадки. Все, что действительно важно, совершается в сердце. Видимые вещи прекрасны, но невидимые в тысячу раз более значительны. И в жизни важно именно невидимое.”

Миссис Уимбуш опустила книгу. ”Прекрасно, не правда ли?” — сказала она. Дэнис предпочел не рисковать и произнес нейтральное ”Гм”.

”Да, это хорошая книга, прекрасная книга”, — говорила Присилла, отпуская по одному листы книги, которые она придерживала большим пальцем. ”А вот место, где пишется об Озере Лотоса”. Она снова подняла книгу и прочла: ”В саду моего Друга есть Озеро Лотоса. Оно лежит в маленькой ложине, увитой дикими розами, над которыми все лето льет свои любовные трели соловей. В озере расцветают Лотосы, и птицы небесные прилетают сюда и пьют прозрачные воды, и купаются в них”... Ах, это напомнило мне, — воскликнула Присилла, захлопнув книгу и рассмеявшись своим громким низким смехом. — Это напомнило мне о том, что произошло в плавательном бассейне после того, как вы были здесь в последний раз. Мы позволили людям из деревни приходиться и купаться по вечерам. И вы себе не можете представить, что здесь творилось”.

Она наклонилась вперед и заговорила доверительным шепотом, время от времени прерывая рассказ булькающими звуками своего глубокого смеха. ”...мужчины и женщины вместе... сама видела их из окна... послала за биноклем, чтобы убедиться... никакого сомнения.” Снова раздался ее смех. Дэнис тоже рассмеялся. Барбикью-Смит был сброшен на пол.

”Пора пойти посмотреть, накрыт ли чай”, — сказала Присилла. Она поднялась с дивана и, шурша платьем, пошла к двери, перешагивая через путающийся в ногах шелк. Дэнис последовал за ней, чуть слышно напевая самому себе:

Потому-то и пошла я  
В оперу петь, в оперу петь,  
В опе-пе-пе, в опе-пе-пе,  
В опе-пе-пе-перу-петь!

И в конце короткий завиток сопровождения:

Ра-ра.

### Глава 3

Терраса перед домом представляла длинную узкую полосу дерна, обрамленную вдоль внешнего края изящной каменной балюстрадой. По бокам стояли две маленьких кирпичных беседки. За домом почва очень круто уходила вниз, и терраса была удивительно высокой. От балюстрады до лужайки внизу был перепад примерно в тридцать футов. Если смотреть снизу, то высокая и еще целая стена террасы, построенная, как и весь дом, из кирпича, имела почти угрожающий вид, словно крепостная стена — бастион замка, с парапета которого просматривались, насколько глаз хватал, огромные воздушные пространства. Внизу, на переднем плане, находился с каменными краями плавательный бассейн, огороженный массивными, как бы высеченными из мрамора тисами. За ним простирался парк с раскидистыми вязами, зелеными травяными лужайками, а на дне долины поблескивала узкая речушка. С противоположной стороны ручья снова шел длинный подъем, расчерченный посевами. Взглянув направо через долину, можно было увидеть гряду далеких голубых холмов.

Стол для чая установили в тени одной из беседок, и к появлению Дэниса и Присиллы все уже собрались вокруг него. Генри Уимбуш разливал чай. Ему было за пятьдесят пять, но он принадлежал к числу тех мужчин без возраста, которым можно дать и тридцать и вообще сколько угодно. Дэнис знал его почти столько же, сколько он помнил себя. За все эти годы его бледное, довольно красивое лицо совсем не изменилось, оно походило на его бледно-серый котелок, который он носил, не снимая, — зимой и летом — нестарееющее, спокойное, безмятежно-невзрачное.

Рядом с ним, но отделенная от него и от остального мира почти непроницаемым барьером своей глухоты, сидела Дженни Маллион. Ей было, наверное, лет тридцать, у нее был вздернутый нос и бело-розовый цвет лица. Свои каштановые волосы она заплетала в косы, которые заворачивались двумя кольцами по бокам вокруг ушей. В таинственном замке своей глухоты она сидела в стороне от всех и взирала на мир своими острыми, пронизывающими глазами. Что она думает о мужчинах, женщинах, обо всем? Этого Дэнис никогда не был в состоянии узнать. В своем загадочном уединении Дженни вызывала некоторую тревогу. Вот и сейчас какая-то лишь ей понятная шутка, казалось, забавляла ее. Она улыбалась про себя, а ее карие глаза были похожи на очень яркие мраморные шарики.

По другую сторону от него строгая, лунообразная невинность лица Мэри Брейсгирдл сияла розовым детством. Ей было около двадцати трех лет, но этого никак нельзя было сказать. Ее коротко подстриженные, как у пажа, волосы золотым упругим колокольчиком закрывали ее щеки. У нее были большие голубые фарфоровые глаза, выразившие невинную и часто озадаченную серьезность.

Рядом с Мэри находился маленький худой человек, неподвижно и прямо сидевший на своем стуле. Внешне мистер Скоган походил на одного из вымерших птероящеров третичного периода. У него был крючковатый нос и черные глаза, которые быстро посверкивали, как у малиновки. Но в нем не чувствовалось мягкости, грации и легкости этой птицы. Кожа на его морщинистом загорелом лице была сухой и казалась покрытой чешуей. Его руки были лапами крокодила. Движения были резкими и беспорядочными, как у ящерицы, и напоминали заводную игрушку. Школьный товарищ и сверстник Генри Уимбуша, мистер Скоган выглядел гораздо старше и, в то же время, был гораздо более по-юношески живым, чем спокойный аристократ с лицом, похожим на серый котелок.

Если мистер Скоган выглядел, как ископаемый ящер, то в Гомбольде все было подлинно человеческим. В старых книгах по естественной истории, издававшихся в тридцатые годы прошлого века, он, изображенный на стальной гравюре, мог бы олицетворять Homo Sapiens — честь, которая в то время обычно оказывалась Байрону. В самом деле, будь у него волосы подлиннее и потоньше шея, Гомбольд выглядел бы совершенно как Байрон и даже более эффектно, потому что Гомбольд был провансальского происхождения, черноволосый молодой корсар тридцати лет с блестящими зубами и горящими большими темными глазами. Дэнис смотрел на него с завистью. Он завидовал его таланту: если бы только он мог так же хорошо писать стихи, как Гомбольд рисовал картины! Более того, в настоящий момент он завидовал внешности Гомбольда, его энергии, непринужденной уверенности его манер. Ничего удивительного, если он понравится Анне. Понравится? Здесь может быть даже кое-что похуже, с горечью размышлял Дэнис, идя рядом с Присиллой вдоль длинной травяной террасы. Стоявший между Гомбольдом и мистером Скоганом очень низко опущенный шезлонг был повернут спиной к вновь подошедшим. Над ним склонился Гомбольд. Лицо его оживленно двигалось; он улыбался, смеялся, он делал быстрые жесты руками. Из глубины шезлонга раздался звук мягкого, ленивого смеха. Услышав его, Дэнис вздрогнул. Этот смех — как хорошо он знал его! Какие чувства пробудились в нем! Он ускорил шаг.

Анна скорее лежала, чем сидела в своем низком шезлонге. Ее длинное, стройное тело покоилось в позе безмятежной, ленивой грации. Обрамленное светло-каштановыми волосами, ее лицо обладало

приятной правильностью черт, которая была почти кукольной. И в самом деле, временами она казалась настоящей куклой, когда ее овальное лицо с бледно-голубыми глазами и длинными ресницами ничего не выражало, когда оно было только неподвижной восковой маской. Она была родной племянницей Генри Уимбуша. Этот котелковый цвет лица был одной из фамильных черт Уимбушей; он передавался по наследству; у женских представителей рода он заменялся невыразительными кукольными лицами. Но на этой кукольной маске, подобно веселой мелодии, пляшущей на фоне однообразной партии басов, отражались и другие качества, унаследованные Анной — быстрый смех, слегка ироничный юмор и меняющиеся выражения множества настроений. Сейчас, когда Дэнис смотрел на нее сверху вниз, она улыбалась. Он называл ее улыбку кошачьей, сам хорошенько не зная, почему. Рот был закрыт, и по обеим его сторонам на щеках образовались две чуть заметные складки. И в этих маленьких складках, и в морщинках вокруг полузакрытых глаз, и в самих глазах, сверкающих и смеющихся за прищуренными веками, таилась целая бездна слегка ехидного веселья.

Поздоровавшись, Дэнис нашел свободный стул между Гомбольдом и Дженни и уселся.

“Как здоровье, Дженни?” — крикнул он ей.

Дженни кивнула и улыбнулась, продолжая хранить загадочное молчание, как будто вопрос о ее здоровье был тайной, не подлежащей разглашению.

“Что нового в Лондоне с тех пор, как я уехала?” — спросила Анна из глубины своего шезлонга.

Итак, время пришло, чрезвычайно забавный рассказ вот-вот готов был излиться.

“Что ж, — начал Дэнис со счастливой улыбкой, — начать с того”...

“Вам Присилла не рассказывала о нашей большой археологической находке?...” Генри Уимбуш наклонился вперед. Рассказ погибал в самом зародыше.

“Начать с того, — безнадежно сказал Дэнис, — что был Балет”...

“На прошлой неделе, — продолжал мистер Уимбуш мягко и неутомимо, — мы откопали пятьдесят ярдов дубовых водосточных труб, просто древесные стволы с высверленными внутри отверстиями. Очень интересно. Или их уложили монахи в 15 веке, или же...”

Дэнис мрачно слушал. “Необычайно! — сказал он после того, как мистер Уимбуш закончил. — Совершенно необычайно!” Он взял еще кусок пирога. Теперь он уже и сам не хотел рассказывать о Лондоне. Настроение было испорчено.

Вот уже некоторое время серьезные голубые глаза Мэри были сосредоточены на нем. “Что вы писали в последнее время?” — спросила она. Что ж, будет приятно поговорить немного о литературе.

”О, стихи и прозу, — ответил Дэнис, — всего лишь стихи и прозу”.

”Прозу? — испуганно ухватился за слово мистер Скоган. — Вы пишете прозу?”

”Да”.

”Не роман ли?”

”Да”.

”Бедный Дэнис! — воскликнул мистер Скоган. — О чем же это?”

Дэнис почувствовал себя несколько неловко. ”О, о самых обычных вещах, знаете ли”.

”Так я и знал, — простонал мистер Скоган. — Я расскажу сюжет за вас. В детстве Перси, герой, никогда не отличался в играх, но он всегда был умен. Он проходит через неизменную закрытую школу и неизменный университет и приезжает в Лондон, где живет среди художников. Унылые мысли давят его к земле. На своих плечах он несет груз всей вселенной. Затем он пишет ослепительно талантливый роман, познает нежную страсть и в конце романа уходит в светлое Будущее”.

Дэнис густо покраснел. Мистер Скоган с ужасающей точностью описал план его романа. Он сделал попытку рассмеяться. ”Вы глубоко ошибаетесь, — сказал он. — В моем романе ни о чем таком не говорится”. Это была героическая ложь. Он подумал, что, к счастью, написал всего две главы. Он разорвет их на кусочки в этот же вечер, как только распакует свои вещи.

Мистер Скоган не обратил внимания на его возражения и продолжал: ”И зачем это вы, молодые люди, все время пишете о таких мало интересных вещах, как духовная жизнь молодежи и художников. Профессиональным антропологам бывает интересно иногда отвлечься от изучения верований наших чернокожих братьев и заняться философскими воззрениями студентов. Но вы не можете требовать, чтобы нормальный взрослый человек вроде меня был сильно тронут историей их духовных исканий. И, наконец, даже в Англии, даже в Германии и России взрослых значительно больше, чем юношей. Что же касается художников, то их занимают проблемы, настолько отличные от проблем, интересующих нормального взрослого человека, проблемы чисто эстетические, которые никогда не возникают перед такими людьми, как я, что для обычного читателя описания его духовных процессов такая же скучная история, как какое-нибудь чисто математическое исследование. Невозможно читать серьезную книгу, в которой о художниках говорится только как о художниках, а книгу, в которой о художниках говорится еще и как о любовниках, мужьях, алкоголиках, героях и так далее, решительно не стоит писать еще раз. Жан-Кристоф — это тип артиста, созданный в литературе, точно так же, как профессор Радиум из ”Смешного калейдоскопа” — тип ученого мужа.

”Мне грустно слышать, что я так неинтересен”, — сказал Гомбольд.

”Совсем нет, дорогой Гомбольд, — поспешил объяснить мистер Скоган. — Я не сомневаюсь в том, что в качестве любовника или алкоголика вы представляете собой необычайно привлекательный экземпляр. Но в качестве создателя форм, вы должны честно это признать — вы не интересны.

”Я с вами совершенно не согласна”, — воскликнула Мэри. Во время разговора она всегда как-то задыхалась, и ее речь прерывалась короткими вдохами. — ”Я знакома со многими художниками и всегда находила, что их духовная жизнь очень интересна. Особенно в Париже. Вот, например, Чуплицкий. Этой весной в Париже я очень часто встречалась с Чуплицким...”

”Ну, в таком случае, вы — исключение, Мэри, вы исключение, — сказал мистер Скоган. — Вы просто *la femme supérieure*. Краска удовольствия превратила лицо Мэри в полную луну.

## Глава 4

На следующее утро Дэнис проснулся и увидел, что солнце светит, а небо безоблачно. Он решил надеть белые фланелевые брюки — белые фланелевые брюки и черную куртку с шелковой рубашкой и новым галстуком персикового цвета. А какие туфли? Без колебаний выбор пал на белые, но в то же время было что-то довольно привлекательное и в мысли о черных лакированных. Несколько минут он лежал в постели, решая эту проблему.

Прежде, чем сойти вниз — окончательный выбор пал на лакированные — он критически осмотрел себя в зеркало. Волосы могли бы быть более золотыми, подумал он. А так в их желтизне содержался намек на зеленоватый оттенок. Но лоб был хорош. Лоб своей высотой компенсировал недостаточно выдающийся подбородок. Нос мог бы быть и подлиннее, но ничего, сойдет и так. Глаза могли бы быть голубыми, а не зелеными. Но куртка была очень хорошего покроя, и искусно подложенная вата делала его сильнее, чем он был на самом деле. Его ноги в белых брюках выглядели длинными и стройными. Удовлетворенный, он спустился по лестнице. Большинство уже закончило завтракать. Он остался вдвоем с Дженни.

”Надеюсь, вы хорошо спали”. — сказал он.

”Да, прелестно, не правда ли? — ответила Дженни и быстро кивнула два раза. — А на прошлой неделе у нас были такие страшные грозы”.

Параллельные прямые, подумал Дэнис, встречаются только в бесконечности. Он мог бы всю жизнь говорить о волшебных снах, а она о погоде до скончания века. Удавалось ли кому-нибудь добиться взаимопонимания? Все мы — параллельные прямые. Дженни лишь немного более параллельна, чем большинство.

”Они очень страшные, эти грозы, — сказал он, принимаясь за овсяную кашу. — Вы не согласны? Или вы выше страха?”

”Нет. Во время грозы я всегда ложусь в постель. В постели гораздо безопаснее”.

”Почему?”

”Потому что, — сказала Дженни, делая поясняющий жест, — потому что молния распространяется сверху вниз, а не горизонтально. Если лечь в постель, находишься вне потока”.

”Очень остроумно”.

”Это правда”.

Наступило молчание. Дэнис покончил с овсянкой и положил себе

бэкон. Не найдя ничего лучшего, а также из-за того, что нелепая фраза мистера Скогана все время вертелась у него в голове, он повернулся к Дженни и спросил:

”Вы себя не считаете *la femme supérieure*?”

Ему пришлось повторить эту фразу несколько раз, прежде чем Дженни уловила ее смысл.

”Нет, — ответила она с некоторым возмущением, услышав, наконец, что говорит Дэнис. — Разумеется, нет. Разве кто-нибудь считает, что это так?”

”Нет, — сказал Дэнис. — Мистер Скоган сказал это Мэри”.

”В самом деле? — Дженни понизила голос. — Сказать вам, что я думаю об этом человеке? Я думаю, что он немного злой”.

Сделав это заявление, она удалилась в башню из слоновой кости своей глухоты и закрыла дверь. Дэнис не смог заставить ее сказать что-нибудь еще, не смог заставить ее даже слушать. Она лишь улыбалась ему, улыбалась и время от времени кивала головой.

Дэнис вышел на террасу выкурить трубку после завтрака и прочесть утреннюю газету. Когда через час подошла Анна, он все еще читал. К этому времени он дошел до уголовной хроники и свадебных объявлений. При ее приближении, он поднялся навстречу ей, лесной нимфе в белом муслине, идущей к нему по траве.

”Ого, Дэнис, — воскликнула она, — ты очень мило выглядишь в этих белых брюках”.

Дэнис был ужасно обескуражен. На это просто невозможно отвечать. ”Ты говоришь так, как будто я ребенок в новом костюмчике”, — сказал он с оттенком раздражения.

”Но это как раз то, что я к тебе чувствую, Дэнис, милый”.

”Значит, тебе не следует так чувствовать”.

”Но я ничего не могу поделать. Я ведь настолько старше тебя”.

”А как же, — сказал он. — На целых четыре года.”

”И если ты на самом деле очень мило выглядишь в этих белых брюках, почему бы мне и не сказать это тебе. И зачем ты их надел, если не думал, что будешь в них очень мил?”

”Пойдем в сад”, — сказал Дэнис. Он был в замешательстве. Разговор принял столь нелепый и неожиданный оборот. А он планировал совершенно иное вступление, согласно которому он должен был начать словами: ”Сегодня ты восхитительно выглядишь”, или как-нибудь иначе в том же духе, а она должна была ответить: ”Неужели?” и затем должно было наступить многозначительное молчание. А сейчас она вступила первая с этими брюками. Ему было досадно; его гордость была уязвлена.

Часть сада, которая спускалась от подножья террасы к бассейну, обладала той красотой, которая создается не столько цветом, сколько формой. Она была так же прекрасна при лунном свете, как и днем.

Серебро воды, темные очертания тисов и падубов в любое время дня и года оставались главной особенностью этого места. Это был чернобелый пейзаж. Цвет царил в открытой оранжерее, которая находилась в стороне от бассейна и отделялась от него плотной живой стеной из тисов. Стоило миновать тоннель в этой живой изгороди, открыть калитку в стене, и вы, к своему удивлению, неожиданно оказывались в мире цвета. Сам июль сверкал и переливался под лучами солнца. Окруженная высокими кирпичными стенами, оранжерея была как бы огромным резервуаром тепла, аромата и цвета.

Дэнис придержал маленькую железную калитку, пропуская свою спутницу. "Как будто переходишь из монастыря в восточный дворец", — произнес он и глубоко вдохнул теплый, пахнущий цветами воздух. "В долине мирной ядер свист"... Как там дальше?

Отлично бьете, пушкари!  
О вспышках, что встают стеной  
Слух не расскажет ничего,  
Лишь блеск и запах боевой!

"У тебя дурная привычка цитировать, — сказала Анна. — Так как я никогда не знаю ни произведения, ни автора, то нахожу ее унижительной".

Дэнис извинился. В этом оборотная сторона образования. Почему-то любое явление кажется более реальным и ярким, если можно к нему приложить чью-нибудь готовую фразу. Кроме того, имеется множество прелестных имен и слов — монофизит, Ямвлихас, Помпонатици. Стоит только торжественно вытащить их на свет, и ты чувствуешь, что выиграл спор благодаря одному только их волшебному звучанию. Вот что дает высшее образование.

"Ты можешь жаловаться на свое образование, — сказала Анна. — А мне стыдно из-за его недостатка. Посмотри на те подсолнухи! Разве они не величественны?"

"Черные лица и золотые венцы царят в Эфиопии. И мне нравится, как синицы прижимаются к цветам и выклеивают семечки, в то время, как остальные неуклюжие птицы с завистью смотрят на них с земли и роятся в ней в поисках червей. Они в самом деле смотрят с завистью? Боюсь, что это опять влияние книг. Снова образование. От этого никуда не денешься". Он умолк.

Анна сидела на скамье, стоявшей в тени под старой яблоней. "Я слушаю", — сказала она.

Он не сел, а начал ходить взад и вперед перед скамейкой и говорил, изредка помогая себе жестами. "Книги, — сказал он, — книги. Читаешь так много, а видишь так мало людей, так мало жизни. Огромные толстые книги о вселенной, о разуме и этике. Ты себе не представляешь, как их много. За последние пять лет я прочитал, наверное, двадцать или тридцать тонн таких книг. Двадцать тонн рассуждений. Человечество выталивают в мир, предварительно нагрузив всем этим".

Он продолжал ходить взад и вперед. Его голос подымался, опускался, на мгновение умолкал и снова продолжал говорить. Он шевелил пальцами и иногда размахивал руками. Анна смотрела и слушала тихо, как на лекции. Он был милым мальчиком, а сегодня выглядел прелестно — прелестно!

Человек вступает в жизнь, — доказывал Дэнис, — имея обо всем готовые представления. У него своя философия, и он старается приспособить к ней жизнь. Сначала следовало бы жить, а потом создавать философию, приспособленную к жизни... Жизнь, факты, явления — все это ужасно сложно, идеи, даже самые трудные, обманчиво просты. В мире идей все ясно; в жизни все темно и запутано. Что же удивительного в том, что человек жалок, ужасно несчастен? Дэнис остановился перед скамейкой и, задав последний вопрос, вытянул руки и мгновение стоял в позе распятого Христа. Затем его руки упали вниз.

”Бедный Дэнис!” — Анна была тронута. Стоя здесь, перед ней в своих белых фланелевых брюках, он в самом деле был очень жалок. — ”Но можно ли страдать из-за подобных вещей? Просто не верится.”

”Ты, как Скоган, — с горечью вскричал Дэнис. — Ты смотришь на меня как на объект, интересный для антрополога. Что ж, надеюсь, так оно и есть.”

”Нет, нет,” — возразила она и подобрала платье движением, которое показывало, что он должен сесть рядом с ней. Он сел. — ”Почему ты не можешь принимать вещи, не задумываясь, так, как они есть?” — спросила она. — Кажется, это так просто”.

”Разумеется, — ответил Дэнис. — Но этому следует учиться постепенно. Еще остается двадцать тонн рассуждений, от которых нужно избавиться”.

”Я всегда принимаю вещи такими, как они есть, — сказала Анна. — Это, кажется так просто. — Наслаждаться тем, что приятно и избегать неприятного. Этим все сказано.”

”Для тебя все. Ведь ты родилась язычницей, а я изо всех сил стараюсь сделаться таким. Я ничего не могу принять на веру, я не могу наслаждаться вещами такими, как они есть. Красота, наслаждение, искусство, женщины — мне приходится придумывать объяснение, оправдание всему, что прекрасно. Иначе я не смогу наслаждаться этим со спокойной совестью. Я выдумываю маленький рассказ о прекрасном и делаю вид, что он имеет какое-то отношение к истине и добру. Я должен говорить, что искусство — это процесс, с помощью которого человек воссоздает из хаоса божественную реальность. Наслаждение — это один из мистических путей к слиянию с бесконечным — экстаз опьянения, танца, любви. Что же касается женщин, то я постоянно убеждаю себя, что они открывают путь к божеству. И подумать только, что лишь сейчас я начинаю до конца понимать, насколько все это глупо! Мне

кажется невероятным, что кто-нибудь смог избежать этих ужасов”.

”Мне кажется еще более невероятным, — сказала Анна, — что кто-нибудь мог стать их жертвой. Мне даже и в голову не придет, что мужчина открывает путь к божеству”. Ироническая веселая улыбка посадила две маленькие морщинки с обеих сторон ее рта, а глаза заблестели смехом сквозь полуприкрытые ресницы. ”Что тебе нужно, Дэнис, так это хорошенькая, пухленькая, молоденькая жена, постоянный доход и подходящая, нетяжелая, но регулярная работа”.

”Мне нужна ты”. Вот как он должен был ответить, вот, что он страстно хотел сказать. Он не смог этого сказать. Желание боролось в нем с застенчивостью. ”Мне нужна ты”. В душе он крикнул эти слова, но ни звука не сорвалось с его губ. Он смотрел на нее с отчаянием. Разве она не видит, что с ним происходит? Разве она не может понять? ”Мне нужна ты”. Он скажет это, он скажет — он скажет.

”Кажется, я пойду искупаюсь”, — произнесла Анна. — Жарко”. Удобный момент миновал.

## Глава 5

Мистер Уимбуш взял их с собой осмотреть достопримечательности его фермы, и сейчас все шестеро — Генри Уимбуш, мистер Скоган, Дэнис, Гомбольд, Анна и Мэри стояли у низкой стенки свинарника и заглядывали в один из хлевов.

”Вот хорошая свиноматка, — сказал Генри Уимбуш. — Она дала приплод в 14 поросят.”

”Четырнадцать?” — повторила недоверчиво Мэри. Она обратила изумленные синие глаза на мистера Уимбуша, затем опустила их на копошащуюся массу *élan vital*, которая созревала в хлеву.

Огромная свиноматка развалилась на боку посреди загородки. Ее круглый черный живот с двойным рядом сосков был открыт для атаки со стороны армии маленьких коричневатых-черных поросят. С отчаянной жадностью они вцепились в бок своей матери. Старая свинья время от времени беспокойно ерзала и коротко похрюкивала от боли. У одного поросенка, самого маленького и слабого в приплоде, не хватило сил обеспечить себе место на этом пиру. Пронзительно визжа, он метался взад и вперед, стараясь протиснуться между своими более сильными братьями или даже вскарабкаться по их плотным спинкам к материнскому источнику.

”Их в самом деле четырнадцать, — сказала Мэри. — Вы совершенно правы. Я подсчитала. Это удивительно”.

”Соседняя матка похуже, — продолжал мистер Уимбуш. — Она дала приплод лишь из пяти поросят. На сей раз я ее пожалею. Если в следующий раз она не исправится, придется ее откормить и зарезать. А вот боров, — он указал на следующий хлев. — Красивый зверь, а? Но он уже пережил свой расцвет. Придется зарезать и его”.

”Какая жестокость!” — воскликнула Анна.

”Но какая практичность, какой замечательный реализм! — сказал мистер Скоган. — На этой ферме мы наблюдаем образец разумного, отеческого правления. Пусть они размножаются, пусть они работают, а когда они уже не могут работать и размножаться, — убейте их”.

”Мне кажется, что животноводство, в основном, заключается в непристойности и жестокости”, — произнесла Анна.

Дэнис принялся чесать длинную щетинистую спину борова концом своей трости. Животное начало подвигаться, чтобы быть поближе к орудью, вызывавшему в нем столь сладостные ощущения, потом боров остановился, как вкопанный, тихо похрюкивая от удовольствия.

Многолетняя грязь сыпалась с его боков серой пыльной перхотью.

”Как приятно делать кому-нибудь добро, — сказал Дэнис. — Думаю, что это чесание доставляет мне не меньшее удовольствие, чем этой свинье. Если бы всегда можно было творить добро со столь малыми усилиями и затратами...”

Хлопнула калитка. Послышался звук тяжелых шагов.

”Доброе утро, Раули!” — сказал Генри Уимбуш.

”Доброе утро, сэр!” — ответил старик Раули. Это был самый почтенный рабочий фермы — высокий, солидный мужчина, все еще державшийся прямо, с седыми бакенбардами и крутым величественным лбом. Серьезный, важный и необычайно представительный, Раули имел вид крупного политического деятеля Англии середины XIX века.

Он остановился, не доходя до их группы, и какое-то мгновение они смотрели на свиней в молчании, которое прерывалось лишь звуками хрюканья или хлюпанья острых копыт по грязи.

Наконец, Раули повернулся медленно, весомо, с чувством собственного достоинства, как он делал все, и обратился к Генри Уимбушу.

”Поглядите на них, сэр, — произнес он, указывая пальцем на копошащихся в грязи свиней. — Не зря их называют свиньями.”

”В самом деле, не зря”, — согласился мистер Уимбуш.

”Этот человек поразил меня, — сказал мистер Скоган, когда старый Раули медленно и с достоинством удалился. — Какая мудрость суждения! Какая способность к оценке! ”Не зря их называют свиньями”. Да. И жаль, что я не могу с таким же правом сказать: ”Не зря нас называют людьми”.

Они проследовали дальше к коровнику и конюшне, где находились ломовые лошади. По дороге им встретилось пятеро белых гусей, которые тоже вышли подышать в это прелестное утро. Они приостановились в нерешительности и загоготали; затем, подняв шеи и превратив их в неподвижных, горизонтально вытянувшихся змей, они побежали в беспорядке, устрашающе шипя на ходу. Рыжие телята шлепали по грязи и навозу просторного двора. В следующей загородке стоял бык, массивный, как паровоз. Это был очень спокойный бык, и его морда хранила выражение тупой меланхолии. Он смотрел своими красновато-коричневыми глазами на посетителей и, отчетливо вспоминая о недавней еде, задумчиво жевал. Его хвост бешено метался из стороны в сторону и, казалось, не имел ничего общего с неподвижным туловищем. Между его короткими рогами завивался треугольник рыжей короткой и жесткой шерсти.

”Прекрасное животное, — сказал Генри Уимбуш. — Племенной бык. Но он уже староват, также, как и боров.”

”Откормите его и зарежьте”, — провозгласил мистер Скоган, с аккуратностью старой девы произнося каждое слово.

”Ты бы не мог дать этим животным немножко отдохнуть от деторождения? — спросила Анна. — Мне так жаль этих несчастных.”

Мистер Уимбуш покачал головой. ”Лично мне, — сказал он, — даже приятно видеть четырнадцать свиной там, где раньше была лишь одна. Зрелище столь грубого стремления жить освежает.”

”Я рад это слышать от вас, — горячо вмешался Гомбольд. — По-больше жизни — вот что нам нужно. Мне нравится размножение; все должно увеличиваться и размножаться изо всех сил”.

Гомбольд перешел на лирические тона. У всех должны быть дети — у Анны, у Мэри — десятки и десятки детей. Он подчеркивал свою точку зрения, ударя тростью по бычьим кожаным бокам. Мистер Скоган должен передать свою ученость маленьким Скоганам, а Дэнис — маленьким Дэнисам. Бык повернул голову посмотреть, что случилось; несколько секунд он наблюдал за барабанящей тростью и снова отвернулся, повидимому удовлетворенный тем, что не случилось ничего. Бесплодие отвратительно, противоестественно, это грех перед жизнью. Жизнь, жизнь и еще раз жизнь. Ребра невозмутимого быка гулко отдавались.

Стоя немного поодаль, опершись спиной о водоколонку, Дэнис изучал всю группу. Страстный и оживленный Гомбольд был ее центром. Остальные стояли вокруг него и слушали: спокойный и вежливый Генри Уимбуш в своем сером котелке; Мэри с полуоткрытым ртом и глазами, горящими возмущением убежденной сторонницы контроля деторождения. Анна смотрела, полузакрыв глаза и улыбаясь; рядом с ней стоял прямой, как гвоздь, мистер Скоган с выражением железной твердости, которая странно контрастировала с ее воздушной грацией, даже в своей неподвижности таившей плавное движение.

Гомбольд умолк, и Мэри, красная от возмущения, уже открыла рот, чтобы дать ему отпор. Но она опоздала. Прежде, чем она успела вымолвить слово, тонкий голос мистера Скогана уже произносил вступительные фразы лекции. Не было никакой надежды вставить хотя бы слово, и Мэри волей-неволей пришлось отступить.

”Даже вашего красноречия, мой дорогой Гомбольд, — говорил он, — даже вашего красноречия повидимому будет недостаточно для того, чтобы обратить мир к вере в радости простого размножения. Вместе с патефоном, кино, автоматическим пистолетом богиня Прикладной Науки подарила миру и иной дар, еще более драгоценный — средства, дающие возможность отделить любовь от размножения. Теперь Эрот стал абсолютно свободным богом для тех, кто этого хочет. Его достойная сожаления связь с Люциной при желании может быть расторгнута. И в течение нескольких последующих столетий, кто знает, мир может увидеть еще более полный разрыв. Я ожидаю этого с оптимизмом. Там, где великий Эразм Дарвин и мисс Анна Сьюард, Личфильдский Лебедь, экспериментировали и потерпели

поражение, несмотря на весь свой ученый пыл, наши потомки будут экспериментировать и добьются успеха. Вместо отвратительной системы, созданной природой, придет система безличного размножения. Огромные инкубаторы заполнят ряд за рядом беременные колбы, которые будут поставлять миру тербуемое население. Институт семьи исчезнет. Подорванное в самой основе, общество должно будет создать новые принципы существования, а Эрос, прекрасно свободный и ничем не связанный, веселой бабочкой будет порхать с цветка на цветок по залитому солнцем миру”.

”Звучит прелестно” — сказала Анна.

”С отдаленным будущим всегда так”.

Голубые фарфоровые глаза Мэри, еще более серьезные и изумленные, чем всегда, неподвижно смотрели на мистера Скогана. ”Колбы? — произнесла она. — Вы в самом деле так думаете? Колбы”...

## Глава 6

Мистер Барбикью-Смит прибыл в субботу после полудня как раз к чаю. Это был маленький тучный человек с большой головой и без шеи. В молодости это отсутствие шеи удручало его, но он успокоился, когда прочел у Бальзака в "Луи Ламбере", что все великие люди в мире были отмечены той же особенностью и по вполне очевидной и простой причине: величие заключается ни в чем ином, как в гармоническом функционировании головы и сердца. Чем короче шея, тем больше приближаются друг к другу эти два органа; *argal*... Это было убедительно.

Мистер Барбикью-Смит принадлежал к числу газетчиков старой школы. Он гордо держал свою львиную голову с гривой странно непривлекательных черных с проседью волос, которые зачесывались назад с широкого, но низкого лба. И почему-то он всегда казался в чем-то выпачканным, правда, только чуть-чуть. В юные дни он весело называл себя представителем богемы. Теперь он так не говорил. Теперь он был учителем, чем-то вроде пророка. Некоторые из его книг об утешении и духовном руководстве уже были изданы тиражами, доходившими до ста двадцати тысяч.

Принимая его, Присилла оказала ему все возможные знаки почтения. Он еще никогда не был в Кроне, и она провела его по всему дому. Мистер Барбикью-Смит был преисполнен восхищения.

"Как необычайно, какая старина", — без устали повторял он. У него был звучный, какой-то жирный голос.

Присилла похвалила его последнюю книгу. "Мне она показалась восхитительной", — произнесла она в своей широкой веселой манере.

"Я счастлив узнать, что она доставила вам утешение", — сказал мистер Барбикью-Смит.

"О, огромное! И это место об Озере Лотоса, мне оно показалось таким прекрасным".

"Я знал, что вам это понравится. Понимаете ли, это пришло ко мне извне". Он взмахнул рукой, указывая на астральный мир.

Они вышли в сад к чаю, и мистер Барбикью-Смит был должным образом представлен.

"Мистер Стоун тоже писатель", — сказала Присилла, представляя Дэниса.

"Неужели! — милостиво улыбнулся мистер Барбикью-Смит

и взглянул на Дэниса снизу вверх с выражением олимпийской снисходительности. — И что же вы пишете?” Дэнис был в бешенстве и, что было хуже всего, почувствовал, что сильно краснеет. Неужели Прицилла лишена чувства меры? Она причисляет их к одному разряду — Барбикью-Смита и его. Они оба были писателями, оба пользовались пером и чернилами. На вопрос мистера Барбикью-Смита он ответил: ”О, ничего особенного, просто так”, — и посмотрел в сторону.

”Мистер Стоун — один из наших молодых поэтов”. Это был голос Анны. Он сердито взглянул на нее, а она раздражающе улыбнулась ему в ответ.

”Великолепно, великолепно, — сказал мистер Барбикью-Смит и поощрительно сжал Дэнису руку. — Быть бардом — благородное призвание”.

Сразу после чая мистер Барбикью-Смит попросил разрешения удалиться: ему еще нужно до обеда кое-что написать. Прицилла его вполне понимала. Пророк удалился в свою комнату.

Мистер Барбикью-Смит спустился в гостиную без десяти восемь. Он был в хорошем настроении и, спускаясь по лестнице, улыбался про себя и потирал свои большие белые руки. В гостиной кто-то тихо и беспорядочно наигрывал на фортепьяно. Он полюбопытствовал, кто бы это мог быть. Вероятно, кто-нибудь из девиц. Но нет, это был всего лишь Дэнис, который, как только он вошел в комнату, быстро вскочил в некотором замешательстве.

”Прошу вас, продолжайте, прошу вас, продолжайте, — сказал мистер Барбикью-Смит. — Я очень люблю музыку.”

”В таком случае, я никак не могу продолжать, — ответил Дэнис. — Я лишь произвожу шум”.

Наступило молчание. Мистер Барбикью-Смит стоял спиной к камину и согревался воспоминаниями о том, как он топился зимой. Он не мог сдержать чувства внутреннего удовлетворения и все еще продолжал улыбаться самому себе. Наконец, он обратился к Дэнису.

”Итак, вы пишете?”

”Да как вам сказать... Немножко”.

”И сколько, по-вашему, слов вы можете написать в час?”

”Не помню, чтобы я когда-нибудь подсчитывал”.

”Вот и напрасно, вот и напрасно. Это чрезвычайно важно”.

Дэнис напряг память. ”Когда я в хорошей форме, — сказал он, — то мне кажется, что я пишу обзор в тысячу двести слов примерно за четыре часа. Но бывает, что это занимает гораздо больше времени”.

Мистер Барбикью-Смит кивнул.

”Итак, триста слов в час, в лучшем случае”. Он вышел на середину комнаты, повернулся на каблуках и снова стал лицом к Дэнису.

”Угадайте, сколько слов я написал за сегодняшний вечер с пяти до половины восьмого?”

”Не могу себе представить”.

”Нет, вы угадajte. С пяти до половины восьмого, то есть за два с половиной часа”.

”Тысячу двести слов”, — сказал Дэнис наугад.

”Нет, нет, нет”. Широкое лицо мистера Барбикью-Смита сияло весельем. ”Еще раз”.

”Тысячу пятьсот”.

”Нет”.

”Сдаюсь”, — сказал Дэнис. Он почувствовал, что не может отыскать в себе особенного интереса к писаниям мистера Барбикью-Смита.

”Ладно, я скажу вам. Три тысячи восемьсот”.

Дэнис раскрыл глаза. ”Должно быть вы немало делаете за день”.

Внезапно мистер Барбикью-Смит принял необычайно доверительный вид. Он подтащил стул к креслу Дэниса, уселся и начал быстро и тихо говорить.

”Послушайте меня, — сказал он, взяв Дэниса за рукав. — Вы хотите писанием зарабатывать на жизнь; вы молоды, вы неопытны. Разрешите мне дать вам маленький полезный совет”.

Что этот тип собирается делать? Дэнис попытался угадать: даст ему письмо к редактору Лондонского еженедельника, или расскажет, где он сможет продавать свою стряпню за семь гиней? Мистер Барбикью-Смит несколько раз погладил его по руке и продолжал.

”Секрет писательства, — сказал он, выдыхая эти слова прямо в ухо молодого человека, — секрет писательства заключается во вдохновении.” Дэнис посмотрел на него в изумлении.

”Вдохновение”... — повторил мистер Барбикью-Смит.

”Вы имеете в виду голос души?”

Мистер Барбикью-Смит кивнул.

”О, в таком случае я с вами совершенно согласен, — сказал Дэнис. — Но что делать, если вдохновение не приходит?”

”Именно этого вопроса я и ждал, — сказа мистер Барбикью-Смит. — Вы спрашиваете: что нужно делать, если Вдохновение не приходит? Отвечаю: в вас есть вдохновение; вдохновение есть в каждом. Все дело заключается в том, чтобы заставить его действовать”.

Часы пробили восемь. Не было никакого признака присутствия остальных гостей. В Кроме все и всегда опаздывали. Мистер Барбикью-Смит продолжал.

”В этом и заключается мой секрет, — сказал он. — Отдаю его вам бесплатно. (Здесь Дэнис издал соответствующее случаю благодарное бормотание и сделал подходящее выражение лица). Я помогу вам найти ваше Вдохновение, потому что мне неприятно смотреть, как славный, серьезный молодой человек тратит энергию и лучшие годы жизни на мучительный умственный труд, которого можно было бы полностью избежать с помощью Вдохновения. Со мной было то же

самое, поэтому я знаю, что это такое. До тридцати восьми лет я был таким же писателем, как и вы, писателем без Вдохновения. Все, что я писал, я выдавливал из себя утомительным трудом. Да что там, в те дни я никогда не мог сделать больше, чем шестьсот пятьдесят слов в час и, более того, часто не мог продать того, что написал. — Он вздохнул. — Нас, художников, — сказал он мимоходом, — людей умственного труда не очень-то ценят здесь, в Англии”.

Дэнис искал в уме, не найдется ли способ, при помощи которого он мог бы отделить себя от этого ”нас” мистера Барбикью-Смита, не выходя, разумеется, за рамки вежливости. Такого способа он не нашел; кроме того, было уже слишком поздно, ибо мистер Барбикью-Смит снова перешел к изложению основных положений своей лекции.

”В тридцать восемь лет я был бедным, борющимся за кусок хлеба, усталым неизвестным журналистом. Сейчас, в пятьдесят”... Он скромно остановился и сделал короткий жест, раздвинув пошире жирные руки и растопырив пальцы, как бы демонстрируя. Он показывал самого себя. Дэнис подумал о той рекламе молока Нестле — на стене две кошки, освещенные луной, одна — черная, худая, другая — белая, гладкая и жирная. До Вдохновения и после.

”Благодаря Вдохновению все изменилось, — торжественно сказал мистер Барбикью-Смит. — Оно пришло внезапно, как легкая роса с неба”. Он поднял руку и дал ей упасть, показывая выпадение росы. ”Это случилось однажды вечером. Я писал мою первую маленькую книгу о Жизненных Правилах ”Скромные герои”. Возможно, вы читали ее. Она явилась утешением — во всяком случае, я надеюсь на это и думаю, что это так — утешением для многих тысяч. Я дошел до середины второй главы и застрял. Усталость, напряжение — за последний час я написал всего сто слов и не мог сдвинуться с места. Я сидел, кусая конец ручки и глядя на электрическую лампу, которая висела над моим столом немножко выше и впереди от меня. — Он с особенной тщательностью показал положение лампы. — Приходилось ли вам когда-нибудь долгое время пристально смотреть на яркий свет?” — спросил он, повернувшись к Дэнису. Дэнис не помнил, чтобы ему приходилось. ”Так можно загипнотизировать себя”, — продолжал мистер Барбикью-Смит.

В ужасающем крещендо из холла раздались звуки гонга. Остальные все еще не подавали никаких признаков жизни. Дэнис страшно хотел есть.

”Как раз это и случилось со мной, — сказал мистер Барбикью-Смит. — Я был загипнотизирован. Я просто потерял сознание”. Он щелкнул пальцами. ”Когда я очнулся, я увидел, что уже за полночь и что я написал четыре тысячи слов. Четыре тысячи, — повторил он, очень широко раздвигая губы при произнесении первого слога слова тысячи. — Ко мне пришло Вдохновение”.

”Какой необыкновенный случай”, — сказал Дэнис.

”Вначале я был испуган. Это показалось мне неестественным. Я как-то чувствовал, что это не совсем хорошо, я чуть было не сказал, не совсем честно: создать литературное произведение в бессознательном состоянии. Кроме того, я опасался, что, может быть, я написал бессмыслицу”.

”И вы написали бессмыслицу?” — спросил Дэнис.

”Разумеется, нет, — ответил мистер Барбикью-Смит несколько раздраженно. — Разумеется, нет. Это было восхитительно. Лишь несколько орфографических ошибок или описок, обычных при автоматическом письме. Но стиль, замысел — все самое существенное было восхитительно. С тех пор Вдохновение посещало меня регулярно. Так я написал всех ”Скромных героев”. Книга пользовалась большим успехом, как и все, что я написал с тех пор”. Он наклонился вперед и ткнул Дэниса пальцем. ”Вот в чем состоит мой секрет, и вот как вы тоже сможете писать, если попытаетесь, — без труда, легко, хорошо”.

”Но как?” — спросил Дэнис, стараясь не показать, сколь глубоко он был оскорблен этим последним ”хорошо”.

”Развивая свое Вдохновение, вступая в контакт со своим подсознанием. Вам не приходилось читать мою книжицу ”Трубопровод в Бесконечность”?

Дэнису пришлось признаться, что это была как раз одна из тех немногих работ, написанных мистером Барбикью-Смитом, может быть, единственная, которую он не читал.

”Не важно, не важно, — сказал мистер Барбикью-Смит. — Это лишь маленькая книжка о связи Подсознательного с Бесконечным. Установите связь с Подсознательным и вы тем самым уже вступили в связь со Вселенной. Это и есть Вдохновение. Вы меня понимаете?”

”Конечно, конечно, — сказал Дэнис. — Но вы не находите, что из Вселенной иногда приходят совершенно не относящиеся к делу послания?”

”Я не допускаю этого, — ответил мистер Барбикью-Смит. — Я их... распределяю по каналам. По трубам я подвожу их к турбинам моего сознательного мышления.”

”Как Ниагара”, — заметил Дэнис. Некоторые из выражений мистера Барбикью-Смита странно напоминали цитаты — без сомнения, цитаты из его собственных произведений.

”Совершенно верно. Как Ниагара. И вот как я это делаю”. Он наклонился вперед, подчеркивая указательным пальцем основные мысли и отбивая ритм своей лекции.

”Прежде чем перейти в транс, я концентрируюсь на том предмете, относительно которого хочу получить вдохновение. Допустим, я пишу о скромных героях; за десять минут до того, как я вхожу в транс, я думаю исключительно о сиротах, которые содержат своих младших

братьев и сестер, о скучной работе, которая выполняется старательно и терпеливо, я концентрирую свою мысль на таких великих философских истинах, как очищение и возвышение души путем страдания и алхимическое превращение свинца зла в золото добра. (Дэнис опять мысленно отметил кавычками эту цитату). После этого я отключаюсь. Спустя два или три часа я снова пробуждаюсь и вижу, что вдохновение сделало свое дело. Тысячи слов, успокаивающих, возвышающих слов лежат передо мной. Я аккуратно перепечатаваю их на машинке, и они готовы к печати.”

”Все это звучит удивительно просто”, — сказал Дэнис.

”Так оно и есть. Все великое, прекрасное, божественное в жизни необычайно просто. (Опять кавычки). Когда я должен писать афоризмы, — продолжал мистер Барбикью-Смит, — то перед тем, как впасть в транс, я перелистываю какой-нибудь сборник изречений или шекспировский календарь, который также может быть полезен. Это определяет ключ, так сказать, благодаря этому я уверен, что Вселенная будет втекать не непрерывным потоком, а каплями афоризмов. Вы понимаете мою мысль?” Дэнис кивнул. Мистер Барбикью-Смит сунул руку в карман и вытащил записную книжку. ”Сегодня в поезде я написал несколько афоризмов, — сказал он, переворачивая страницы. — Просто впал в транс, сидя в углу купе. Я считаю, что поезд очень располагает к хорошей работе. Вот они”. Он откашлялся и прочел:

”Горная Тропа может быть и крута, но там, наверху, воздух чист, и только с Вершины ты обозришь все дали.”

”То, что Действительно Важно, происходит в Сердце.”

Любопытно, подумал Дэнис, как Бесконечное временами повторяется.

”Видеть — значит верить. Да, но верить — это значит также и видеть. Если я верю в Бога, я вижу Бога даже в вещах, которые кажутся порочными”.

Мистер Барбикью-Смит взглянул поверх блокнота. ”Этот последний, — сказал он, — особенно тонок и прекрасен, не правда ли? Без Вдохновения мне бы никогда не напасть на него”. Он еще раз прочитал свое изречение, произнося слова медленнее и более торжественно. ”Прямо из Бесконечного”, — задумчиво пояснил он и обратился к следующему афоризму.

”Пламя свечи дает свет, но оно же и обжигает”.

На лбу мистера Барбикью-Смита появились морщинки недоумения. ”Я не знаю точно, что это значит, — сказал он. — Это очень афористично. Разумеется, это можно применить к Высшему Образованию — просвещает, но в то же время провоцирует Низшие Классы на волнения и революцию. Да, полагаю, так оно и есть. Но это афористично, афористично.” Он задумчиво потер подбородок. Снова зазвучал гонг громко и, казалось, с мольбой: остывал обед. Это прервало размышления

мистера Барбиксю-Смита. Он повернулся к Дэнису.

”Теперь вы понимаете, почему я советую вам развивать вдохновение. Пусть Подсознание работает на вас; включите Ниагару Бесконечного”.

На лестнице послышались шаги. Мистер Барбиксю-Смит поднялся, на мгновение положил руку Дэнису на плечо и сказал:

”Хватит об этом. В другой раз. И помните, я полностью полагаюсь на вашу скромность. Есть интимные, святые вещи, и не хочется, чтобы они стали известны всем и каждому”.

”Разумеется, — сказал Дэнис. — Я все понимаю”.

## Глава 7

Все кровати в Кроне были старинной унаследованной мебелью. Массивные кровати, напоминавшие четырехмачтовые корабли со свернутыми парусами из блестящей цветной материи. Кровати с резьбой и инкрустацией, кровати крашенные и позолоченные. Кровати из ореха и дуба, из редких, экзотических пород дерева. Кровати любой эпохи и моды, начиная с времен сэра Фердинандо, который построил этот дом, и кончая временем его тезки, жившего в конце XVIII столетия, последнего представителя рода, но все грандиозные, великолепные.

В настоящее время самой красивой была кровать Анны. Сэр Джулиус, сын сэра Фердинандо, сделал ее в Венеции для своей жены, которая должна была впервые родить. Эта кровать впитала в себя все экстравагантное искусство раннего венецианского сейченко. Остов кровати был похож на огромный квадратный саркофаг. На ее деревянных панелях были очень рельефно вырезаны букеты роз, и среди них кувыркалились веселые putti. На черном фоне панелей выделялись позолоченные и отполированные резные рельефы. Золотые розы спиралью поднимались по две по колоннообразным столбам, а херувимы, сидевшие на верхушке каждой колонны, поддерживали деревянный балдахин, украшенный такими же резными цветами.

Анна читала, лежа в кровати. Около нее на столике стояли две свечи. В их мягком свете ее лицо, голая рука и плечо приобрели теплый оттенок, и кожа сделалась какой-то персиковой. Золотые лепестки, вырезанные из балдахина, который возвышался над ней, ярко блестели здесь и там, среди глубоких теней, а мягкий свет, падавший на украшенную фигурками панель кровати, настойчиво пробивался сквозь перепутавшиеся розы и задерживался, легко лаская дующие щеки, животы с ямочками, тугие смешные задки беззаботно раскинувшихся putti.

Послышался осторожный стук в дверь. Она подняла голову. "Входите, входите". Дверь приоткрылась и из-за нее выглянуло лицо, круглое и детское, в гладком колокольчике золотых волос. Вслед за этим появилась розовато-лиловая пижама, которая выглядела еще больше по-детски.

Это была Мэри. "Я решила заглянуть на минутку пожелать вам спокойной ночи", — сказала она и уселась на край постели.

Анна закрыла книгу. "Это очень мило с вашей стороны."

"Что вы читаете?" Она посмотрела на книгу. "Довольно заурядная

вещь, не правда ли?" Интонация, с которой Мэри произнесла слово "заурядная" выражала почти бесконечное осуждение. В Лондоне она привыкла общаться только с незаурядными людьми, которые любили незаурядные вещи, и она знала, что в мире существует очень, очень мало незаурядных вещей, да и те по большей части французские.

"Должна признаться, что она мне нравится", — сказала Анна. Больше говорить было не о чем. Последовавшее молчание было довольно неприятным. Мэри смущенно крутила нижнюю пуговицу своей пижамы. Опершись спиной на гору взбитых подушек, Анна ожидала, что же будет дальше.

"Я так страшно боюсь подавлений", — наконец произнесла Мэри, внезапно и неожиданно обретая дар речи. Она произнесла эти слова в конце выдоха, и ей пришлось сделать следующий вдох чуть ли не до того, как была закончена фраза.

"Но из-за чего вам быть подавленной?"

"Я сказала подавления, а не подавленность".

"А, подавления, понимаю, — сказала Анна. — Но подавления чего?"

Мэри пришлось пояснить. "Естественных инстинктов пола"... — начала она поучительно. Но Анна перебила ее.

"Да, да. В самом деле. Понимаю. Подавления! Старые девы и так далее. Но что вы имеете в виду?"

"Совершенно верно, — сказала Мэри. Я их боюсь. Всегда опасно подавлять свои инстинкты. Я начинаю отмечать в себе симптомы, подобные тем, о которых пишут в книгах. Мне постоянно снится, что я падаю в колодезь; а иногда мне снится даже, что я взбираюсь по лестнице. Меня это очень беспокоит. Уж очень ясно выражены симптомы".

"В самом деле?"

"Если не принять предосторожностей, можно стать нимфоманкой. Вы даже себе представить не можете, как опасны эти подавления, если вовремя от них не избавиться".

"Звучит слишком страшно, — сказала Анна. — Но я не вижу, чем я могу вам помочь."

"Я думала, что мне просто нужно обсудить это с вами".

"О, конечно, я буду очень рада, Мэри, дорогая".

Мэри откашлялась и сделала глубокий вдох. "Я полагаю, — начала она назидательным тоном, — я полагаю, что мы можем считать само собой разумеющимся, что молодая интеллигентная женщина двадцати трех лет, живущая в цивилизованном обществе в двадцатом веке не имеет предрассудков."

"Должна признаться, что у меня все еще есть несколько".

"Но не относительно подавлений".

"Да, относительно подавлений немного; это правда".

"Или, вернее, о том, как избавиться от подавлений".

”Совершенно верно”.

”Итак, у нас уже есть большая посылка”, — сказала Мэри. Серьезность была выражена в каждой черте ее круглого молодого лица, исходила из ее больших синих глаз. ”Теперь мы подходим к желательности обладания опытом. Надеюсь, мы согласны в том, что знание желательно, а невежество нежелательно”.

Послушная, как те почтительные ученики, от которых Сократ мог получить любой нужный ему ответ, Анна согласилась с этим утверждением.

”И мы точно так же согласны, надеюсь, что брак представляет собой то, что он есть на самом деле”.

”Да”.

”Превосходно!” — сказала Мэри. — А так как подавления представляют собой то, что они есть...”

”Несомненно”.

”То из этого может следовать лишь один вывод”.

”Но я знала это, — воскликнула Анна, — еще до того, как вы начали”.

”Да, но сейчас это доказано, — сказала Мэри. — Следует поступать логично. Теперь вопрос заключается в том...”

”Но какие здесь могут быть вопросы? Вы пришли к единственно возможному выводу, причем, с помощью логики, а это больше, чем могла сделать я. Теперь вам остается лишь сообщить эти сведения кому-нибудь, кто вам нравится, кто вам в самом деле очень нравится, кому-нибудь, в кого вы влюблены, если мне позволено будет выразиться столь прямолинейно”.

”Но именно здесь-то и возникает вопрос, — воскликнула Мэри. — Я ни в кого не влюблена”.

”Тогда, на вашем месте, я бы подождала пока это случится”.

”Но я же не могу продолжать каждую ночь видеть во сне, что я падаю в колодец. Это слишком опасно.”

”Ну, если это в самом деле слишком опасно, вы должны что-нибудь предпринять. Вы должны кого-нибудь найти”.

”Но кого?” — Задумчивые морщины пересекли лоб Мэри. ”Это должен быть интеллигентный человек, человек, чьи интеллектуальные запросы я смогу разделять. И это должен быть человек, который действительно уважает женщин, который может серьезно говорить о своей работе и своих взглядах, а также о моей работе и моих взглядах. Как видите, не так-то просто найти подходящего человека”.

”Что ж, — сказала Анна. — В настоящее время в этом доме находится трое свободных интеллигентных мужчин. Начнем с мистера Скогана; но, вероятно, он уже представляет собой слишком большую антикварную ценность. Следовательно, остаются Гомбольд и Дэнис. Можем ли мы сказать, что выбор ограничен последними двумя?”

Мэри кивнула. "Я думаю, что нам лучше было бы"... — сказала она и остановилась с видом некоторого смущения.

"Что случилось?"

"Я не уверена, — сказала Мэри с одышкой, — действительно ли они свободны. Я думала, что, может быть, вы могли бы... могли бы..."

"Очень мило с вашей стороны вспомнить обо мне, дорогая Мэри, — сказала Анна, улыбаясь незаметной кошачьей улыбкой. — Но что касается меня, то оба они совершенно свободны".

"Я очень рада этому, — сказала Мэри с видимым облегчением. — Теперь перед нами возникает вопрос: который из двух?"

"Я не могу вам советовать. Это зависит от вашего вкуса".

"Это зависит не от моего вкуса, — произнесла Мэри, — а от их достоинств. Мы должны их взвесить и обсудить тщательно и беспристрастно".

"Вы должны сами произвести взвешивание", — сказала Анна. В уголках ее рта и вокруг полузакрытых глаз все еще оставался след улыбки. "Я не хочу рисковать, давая вам неправильный совет".

"Гомбольд более талантлив, — начала Мэри, — но он хуже воспитан, чем Дэнис". То, как Мэри произнесла слово "воспитан" придало слову особое, дополнительное значение. Она тщательно выговорила его только передней частью рта, с легким шипением на свистящей согласной. Воспитанных людей так мало, и они, как и большинство незаурядных произведений искусства, в основном, французы. "Воспитание чрезвычайно важно, как вы думаете?"

Анна подняла руку. "Я не буду советовать, — сказала она. Вы сами должны решать".

"Семья Гомбольда, — продолжала задумчиво Мэри, — происходит из Марселя. Довольно опасная наследственность, если учесть отношение романских народов к женщинам. И в то же время я иногда сомневаюсь, действительно ли Дэнис по-настоящему серьезный человек, или, может быть, он более дилетант. Как вы думаете?"

"Я не слушаю, — сказала Анна. — Я отказываюсь брать на себя какую бы то ни было ответственность".

Мэри вздохнула.

"Что ж, — сказала она. — Думаю, что мне лучше пойти лечь и подумать об этом".

"Тщательно и беспристрастно", — сказала Анна.

Возле дверей Мэри обернулась. Она сказала: "Спокойной ночи" и, произнося эти слова, удивилась, почему Анна так странно улыбается. Вероятно, это просто так, подумала она. Анна часто улыбалась без видимой причины; возможно, это просто привычка. "Надеюсь, этой ночью мне не будет сниться, что я опять падаю в колодезь", — прибавила она.

"Лестницы хуже", — сказала Анна.

Мэри кивнула. "Да, лестницы значительно опаснее".

## Глава 8

По воскресеньям завтракали на час позже, чем в обыкновенные дни, и Присилла, которая обычно не показывалась до второго завтрака, почтила его своим присутствием. Она сидела во главе стола, одетая в черный шелк, с рубиновым крестом и своей обычной ниткой жемчуга на шее. Огромная воскресная газета закрывала от внешнего мира все, кроме верхней оконечности ее прически.

“Ого, Шурри выиграли четыре очка, — проговорила она с полным ртом. — Солнце находится у Льва — в этом все дело!”

“Прелестная игра этот крикет, — добродушно заметил мистер Барбикью-Смит, ни к кому конкретно не обращаясь. — Это так по-английски”.

Дженни, сидевшая рядом с ним, внезапно вздрогнув, очнулась. “Что?” — сказала она. “Что?”

“Так по-английски, — повторил мистер Барбикью-Смит.

Дженни удивленно взглянула на него. “По-английски? Разумеется, говорю”.

Он уже начал было объяснять, когда миссис Уимбуш отложила свою газету, и показалось ее лицо, квадратное, покрытое розовой пудрой, во всем своем оранжевом великолепии. “Сейчас опять начинается новая серия статей о потустороннем мире, — сказала она мистеру Барбикью-Смиту. — На сей раз она называется “Летняя Страна и Генна”.

“Летняя Страна, — повторил мистер Барбикью-Смит, закрывая глаза. — Летняя Страна. Прекрасное название. Прекрасное... прекрасное”.

Мэри заняла место рядом с Дэнисом. После целой ночи тщательных расчетов она остановилась на Дэнисе. Возможно, он менее талантлив, чем Гомбольд, возможно, ему немного не хватает серьезности, но он как-то надежнее.

“Вы много пишете стихов здесь в деревне?” — спросила она с умным серьезным видом.

“Нет, — кратко сказал Дэнис. — Я не взял с собой машинку”.

“Не хотите ли вы сказать, что вы не можете писать без машинки?”

Дэнис покачал головой. Он не любил разговаривать за завтраком и, кроме того, он хотел слышать, что говорит мистер Скоган на другом конце стола.

“...Мой план решения церковного вопроса, — говорил мистер

Скоган, — великолепно прост. В настоящее время англиканские священники носят воротники задом наперед. Я обязал бы их носить задом наперед не только воротники, но и всю одежду: пиджак, жилет, брюки, ботинки — так что каждый священник мог бы явить миру гладкий фасад, не нарушаемый запонками, пуговицами или шнурками. Введение такой формы действовало бы на желающих поступить в церковь как полезное сдерживающее средство. В то же время это чрезвычайно усилило бы то, на чем столь справедливо настаивал архиепископ Лод: “красоту святости” в тех немногих неисправимых, которых нельзя будет сдержать”.

“Кажется, что в аду, — прочла Присилла из своей воскресной газеты, — дети забавляются, сдирая кожу с живых ягнят”.

“Но, дорогая леди, ведь это только символ, — воскликнул мистер Барбикью-Смит, — материальный символ духовной истины. Ягнята воплощают”...

“Затем идет военная форма, — продолжал мистер Скоган. — Когда алая одежда и блестящие эмблемы уступили место хаки, нашлись люди, которые опасались за будущее войн. Но затем, поняв, как элегантен новый мундир, как плотно он облегает талию, как чувственно он подчеркивает бедра с помощью боковых карманов, когда они осознали блистательные возможности бриджей и сапог, они успокоились. Отмените это изящество военной формы и введите форму из простого холста и прорезиненной ткани, и вы очень скоро увидите, что”...

“Кто-нибудь пойдет со мной в церковь сегодня утром?” — спросил Генри Уимбуш. Никто не отозвался. Он приукрасил свое бесхитростное приглашение. “Видите ли, я буду читать из библии. И затем будет мистер Бодихэм. Его проповеди иногда стоит послушать”.

“Благодарю, благодарю, — сказал мистер Барбикью-Смит. — Что касается меня, то я предпочитаю богослужения в беспредельном храме Природы. Как это выразил наш Шекспир? “Проповеди в книгах, камни в бегущих ручьях”. Красивым жестом он показал на окно, но уже в то время, когда он это делал, он начинал испытывать хотя и смутное, но тем не менее настойчивое и неприятное ощущение, что в этой цитате что-то не так. Что бы это могло быть? Проповеди? Камни? Книги?

## Глава 9

Пастор Бодихэм сидел в кабинете у себя дома. Готические окна девятнадцатого века, узкие и заостряющиеся кверху, неохотно пропускали свет; в комнате было сумрачно, несмотря на сияющий июльский день.

Стены пересекали линии книжных полок, покрытых коричневым лаком, заполненных возвышающимися один над другим рядами тяжелых теологических фолиантов из числа тех, которые во второразрядных книжных лавках обычно продаются на вес. И камин, и поднимающиеся над ним веретенообразные стойки, и полочки — все было покрыто коричневым лаком. Письменный стол был покрыт коричневым лаком. Так же, как стулья и дверь. Пол был покрыт темным красно-коричневым ковром с узорами. В комнате все было коричневым и странно пахло чем-то коричневым.

Посреди этого коричневого сумрака за своим столом сидел мистер Бодихэм. Это был человек в Железной Маске. Серое металлическое лицо с железными скулами и узкий железный лоб; железные морщины, суровые и неподвижные, перпендикулярно пересекали его щеки; его нос напоминал железный клюв какой-то худой некрупной птицы. У него были карие глаза, посаженные в оправленные железом глазные впадины; кожа вокруг них была такой темной, как будто она обуглилась. Его череп покрывали густые, похожие на проволоку волосы; когда-то черные, сейчас они начинали седеть. Уши были очень маленькие и красивые. Его челюсти, подбородок, верхняя губа были темными, темными, как железо там, где было выбрито. Его голос, когда он говорил и, особенно, когда он возвышал его во время проповеди, был резким, как скрипение железных петель, когда открывают дверь, которой давно не пользовались.

Было около половины первого. Он только что пришел из церкви, охрипший и утомленный после проповеди. Он проповедовал яростно, страстно, железный человек, цепом молотивший души своей паствы. Но в Кроме души верующих были сделаны из каучука, из плотной резины; цеп отскакивал. В Кроме привыкли к мистеру Бодихэму. Цеп тяжело ударял по резине, а резина чаще всего спала.

В это утро он произнес проповедь, как это он часто делал и раньше, о сущности Бога. Он попытался заставить их понять, что такое Бог, и как ужасно вызвать его гнев. При слове Бог они думали о чем-то мягком и милосердном. Они закрывали глаза на факты; более того, они закрывали глаза на Библию. Когда "Титаник" погружался в воду, пассажиры пели: "Ближе, мой Господь, к тебе". Разве они понимали, к чему хотели приблизиться? Белое пламя справедливости, гневное пламя...

Во время проповедей Савонаролы люди громко рыдали и стонали. Ничто не нарушало вежливого молчания, с которым Кром слушал мистера Бодихэма — лишь изредка кашель, а иногда звук тяжелого дыхания. На передней скамье сидел Генри Уимбуш, спокойный, воспитанный, превосходно одетый. Бывали мгновения, когда мистеру Бодихэму хотелось соскочить со своей кафедры и встряхнуть его, чтобы он ожил, мгновения, когда он готов был избить и уничтожить всю свою паству.

Он уныло сидел за своим столом. За готическими окнами земля была теплой и удивительно спокойной. Все было, как обычно. И все же, все же... Уже минуло почти четыре года с тех пор, как он произнес эту проповедь на тему из Евангелия от Матфея XXIV. 7. "Ибо восстанет народ на народ и царство на царство: и будут глады и моры, и землетрясения по местам". С тех пор прошло около четырех лет. Он еще тогда впечатал эту проповедь; было так страшно, так жизненно важно, чтобы весь мир узнал то, что он должен был ему сказать. На его столе лежал экземпляр небольшой брошюры — восемь серых страничек, отпечатанных шрифтом, стертым, как зубы старого пса, бесконечным, монотонным чавканьем печатного станка.

"Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство: и будут глады и моры, и землетрясения по местам".

"Девятнадцать веков миновало с тех пор, как наш Господь произнес эти слова, и ни один из них не обошелся без войн, чумы, голода и землетрясений. Могущественные империи были разрушены до основания, болезни опустошили половину планеты, произошли огромные стихийные катастрофы, в которых множество людей было сокрушено наводнениями и пожарами, и ураганами. В течение этих девятнадцати столетий снова и снова повторялись подобные явления, но они не привели на землю Христа. Это были "знамения времени", ибо это были знамения гнева Господня на вечную испорченность человечества, но это не были знамения времени, связанные со вторым пришествием.

"Если истинные христиане считают нынешнюю войну верным знаменем близкого возвращения Господа, то это происходит не только потому, что это великая война, повлекшая за собой смерть миллионов людей, не только потому, что голод все сильнее сжимает в своих тисках все страны Европы, не только потому, что всевозможные болезни, от

сифилиса до сыпного тифа, распространились между воюющими народами; нет, не потому считаем мы эту войну истинным Знамением Времени, но потому, что ее зарождение и развитие отмечены определенными чертами, которые, повидимому, связывают ее, почти вне всякого сомнения, с предсказаниями христианских пророков, относящихся ко второму пришествию Господа.

”Позвольте мне перечислить признаки настоящей войны, которые особенно ясно указывают на то, что она является Знамением, предсказывающим близость второго пришествия. Господь наш сказал: ”И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец”. Хотя с нашей стороны было бы самонадеянно определять, какую степень евангелизации Бог сочтет достаточной, но мы можем, по крайней мере в душе, уповать, что столетие неустанной миссионерской работы во всяком случае приблизило выполнение этого условия. Правда, большая часть мирового населения осталась глухой к проповеди истинной веры, но это не может заслонить того факта, что Евангелие проповедовалось ”во свидетельство” всем неверующим от папистов до зулусов. Ответственность за продолжающееся преобладание безверия лежит не на проповедниках, а на тех, кому проповедают.

”Далее, общепризнанным является и то, что ”высыхание вод в великой реке Евфрат”, о котором упоминается в шестнадцатой главе Апокалипсиса, означает распад и уничтожение турецкого владычества и является, как нам известно, знамением близкого конца света. Захват Иерусалима и успехи в Месопотамии — это большие шаги вперед на пути разрушения Оттоманской империи; хотя следует отметить, что как показал Галлиполийский эпизод, сила турок еще не иссякла. С исторической точки зрения можно сказать, что высыхание турецкого владычества происходило в течение всего прошлого столетия; последние два года свидетельствуют о значительном ускорении этого процесса, и не может быть сомнения в том, что полное ее истощение не за горами.

”Слова о высыхании Евфрата продолжает близкое им пророчество Армагеддона о мировой войне, с которой столь тесно связано второе пришествие. Раз начавшись, мировая война может кончиться только с возвращением Христа, и его возвращение будет внезапным и неожиданным, подобно тому, как приходит тать в ночи.

”Давайте же исследуем факты. В истории, так же как и в Евангелии от Иоанна, мировой войне непосредственно предшествует иссякание Евфрата, то есть распад турецкого владычества. Одного этого факта было бы достаточно, чтобы связать нынешний конфликт с Армагеддоном из Апокалипсиса и тем самым указать на близость второго пришествия. Но можно представить свидетельство, еще более надежное и убедительное.

”Армагеддон является порождением трех нечистых духов, так сказать, гадов, которые исходят из пастей Дракона, Зверя и Лжепророка. Если мы сможем определить, в чем воплощаются эти три силы зла, то и весь вопрос получит значительно лучшее освещение.

”И Дракона, и Зверя и Лжепророка — всех их можно найти в истории. Сатана, который может действовать только через посредство людей, использовал эти три силы в длительной войне с Христом, которая наполнила религиозными раздорами последние девятнадцать веков. Дракон, и это убедительно доказано, — это языческий Рим, и дух, который исходит из его уст, — это дух Безбожия. Зверь, который изображается также в виде Женщины, — это, несомненно, папская власть, и папство — суть дух, изрыгаемый ею. Есть лишь одна сила, которая соответствует описанию Лжепророка, волка в овечьей шкуре, орудие дьявола, действующего под личиной Агнца, и это сила — так называемое ”Общество Иисуса”. Дух, который исходит из уст Лжепророка — это дух ложной морали.

”Отсюда мы можем предположить, что три злых духа — это Безбожие, Папство и Ложная Мораль. Были ли эти три влияния истинной причиной настоящего столкновения? Ответ ясен.

”Дух безбожия и есть истинный дух немецкой критики. Высшая Критика, как ее вызывающе именуют, отрицает возможность чудес, пророчеств и истинного вдохновения и пытается объяснить Библию естественным образом. В течение последних восьмидесяти лет медленно, но верно дух Безбожия лишал немцев их Библии и их веры, и в настоящее время немцы — это нация безбожников. Таким образом, Высшая Критика и сделала возможной эту войну, ибо для любой христианской нации было бы совершенно невозможно вести войну так, как ее ведет Германия.

”Теперь мы подходим к духу Папизма, чье влияние на возникновение войны было так же велико, как и влияние безбожия, хотя, может быть, и не столь непосредственно очевидно. После франко-прусской войны влияние папы во Франции постепенно ослабевало, тогда как в Германии оно постепенно возрастало. Сегодня Франция — это анти-папское государство, тогда как в Германии имеется мощное римско-католическое меньшинство. Два государства, находящихся под контролем папы, — Германия и Австрия, воюют с шестью анти-папскими государствами — Англией, Францией, Италией, Россией, Сербией и Португалией. Бельгия, несомненно, является полностью папским государством, и вряд ли стоит сомневаться в том, что присутствие на стороне союзников столь явно враждебного элемента в значительной мере повредило правому делу и объясняет наш относительно незначительный успех. Таким образом, из распределения воюющих сил достаточно ясно видно, что подоплекой войны является дух папизма, тогда как восстание в римско-католических частях Ирландии лишь

подтверждает заключение, очевидное для любого непредубежденного мыслящего человека.

”Дух Лживой Морали сыграл столь же важную роль в этой войне, что и два других духа зла. Инцидент с ”Клочком бумаги” — ближайший и наиболее очевидный пример верности Германии этой, по существу, не христианской, иезуитской морали. Целью является немецкое мировое господство, и для достижения этой цели оправданы любые средства. Это подлинный принцип иезуитизма, примененный в международной политике.

”Теперь тождество установлено. Как было предсказано в Апокалипсисе, три злых духа появились как раз тогда, когда владычество Оттоманской империи близилось к концу, и объединились, чтобы вызвать мировую войну. Предостережение: ”Ждите, я приду как тать” относится поэтому к настоящему периоду — к вам, ко мне и ко всему миру. Эта война неизбежно приведет к войне Армагеддона и закончится лишь после личного возвращения Господа.

”И что же произойдет, когда он возвратится? Те, кто во Христе, говорит нам св. Иоанн, будут призваны к вечеру Агнца. Те же, кого он застанет сражающимися против него, будут призваны к вечеру Великого Бога — к этому мрачному пиру, где не они будут пировать, но пировать будут ими.” Ибо, — как говорит св. Иоанн, — увидел я одного ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по середине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию; чтобы пожрать трупы царей и трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, малых и великих”. Все враги Христа будут побиты мечом того, кто сидит на коне, ”и все птицы напитаются их трупами”. Это великая вечеря Божия.

”Это может произойти скоро или, по человеческому исчислению времени, не скоро; но рано или поздно господь придет и избавит мир от его нынешних тревог. И горе тем, кто будет призван не к Вечере Агнца, но в Великой вечере Божией. Они познают тогда, но слишком поздно, что Бог — это Бог Гнева так же, как и Бог Милосердия. Господь, пославший медведей, дабы они пожрали насмехавшихся над Елисеем, Господь, который поразил египтян, погрязших во грехе, несомненно поразит и их, если они не поспешат раскаяться. Но может быть уже слишком поздно. Кто знает, может быть, завтра, может быть, даже через мгновение Христос появится среди нас, как тать? Может быть, совсем скоро (кто знает?) ангел, стоящий на солнце, призовет воронов и грифов из их щелей в скалах и накормит их гниющими трупами миллионов нечестивых, которых покарал гнев Господа. Поэтому будьте готовы; пришествие Господа близко. Пусть это будет для вас предметом надежды, а не ожидания в страхе и трепете”.

Мистер Бодихэм закрыл маленькую брошюру и откинулся на

спинку стула. Доводы были обоснованными и абсолютно убедительными, и тем не менее — вот уже четыре года минуло с тех пор, как он произнес эту проповедь; четыре года, а в Англии был мир, солнце сияло, люди в Кромпе были так же безнравственны и равнодушны, как всегда — и даже еще больше, если только это возможно. Если бы он мог только понять, если бы свыше ему был послан хоть какой-нибудь знак! Но его вопросы оставались без ответа. Сидя здесь, в своем коричневом, покрытом лаком кресле у готического окна, он чуть было не застонал вслух. Он вцепился в поручни кресла и сжимал, сжимал их, чтобы успокоиться. Ногти на его пальцах побелели, он закусил губу. Через несколько секунд он уже мог ослабить напряжение. Он стал упрекать себя за свое кромольное нетерпение.

Четыре года, подумал он; и вообще, что такое четыре года? Армагеддону неизбежно понадобится длительный срок, чтобы созреть и подняться. Эпизод 1914 года был предварительной стычкой. Что же до того, что война закончилась, то, разумеется, это всего лишь иллюзия. Она все еще продолжается, тлея в Силезии, Ирландии, Анатолии; волнения в Египте и в Индии, возможно, подготавливают значительное усиление резни среди язычников. Китайский бойкот Японии и союзничество последней с Америкой могли породить новую большую войну на востоке. Перспективы, старался убедить себя мистер Бодихэм, были обнадеживающими; действительный, истинный Армагеддон мог вскоре начаться, и тогда, как тать в ночи... Но вопреки всем своим утешительным рассуждениям он оставался несчастным, неудовлетворенным. Четыре года назад он был так уверен; тогда воля Божья казалась столь ясной. А теперь?

Что ж, ему оставалось только сердиться. И кроме того, теперь он страдал.

Неожиданно и молча, как привидение, появилась миссис Бодихэм, бесшумно скользя по комнате. Над черным платьем ее бледное лицо было отмечено какой-то тусклой белизной, ее глаза были бледными, как вода в стакане, а соломенные волосы почти бесцветными. В руке она держала большой конверт.

”Это пришло по почте”, — сказала она тихо.

Конверт был распечатан. Механическим движением мистер Бодихэм раскрыл его. В нем содержалась брошюра, несколько большая, чем его, и более изящная на вид. ”Торговый дом Шини, ”Одежда для Духовных Лиц, Бирмингем”. Он начал листать. Каталог был отпечатан со вкусом, наподобие духовных книг, шрифтом антиква с блестящими начальными готическими буквами. Красные линии полей, пересекавшиеся на углах, обрамляли каждую страницу, наподобие оксфордских рамок на картинках. Вместо точек стояли красные крестики. Мистер Бодихэм переворачивал страницы.

Сутаны черные из лучшей шерсти. Готовая одежда; имеются все

размеры. Рясы для священнослужителей. Цены от девяти гиней. Изящная одежда, сшитая нашими опытными церковными закройщиками”.

С иллюстраций, сделанных в полутонах, смотрели щегольски одетые молодые священники; некоторые выделялись мускулами и напоминали регбистов, другие, с лицами аскетов и большими восторженными глазами, были одеты в жакеты, рясы, стихари, пасторские вечерние одежды, в черные тужурки с поясами.

”Большой выбор риз. Веревочные пояса.

Специальные манишки для сутан фирмы Шини. Шнурком завязываются вокруг талии... Под стихарем такую манишку нельзя отличить от целой рясы. ...Рекомендуются для лета и для стран с жарким климатом”.

Движением, выражавшим ужас и отвращение, мистер Бодихэм швырнул каталог в мусорную корзину. Миссис Бодихэм посмотрела на него; ее бледные, тусклые глаза отразили его действие без комментариев.

”Деревня, — произнесла она тихим голосом, — деревня становится все хуже и хуже с каждым днем”.

”Что там еще случилось?” — спросил мистер Бодихэм, почувствовав вдруг, что он очень устал.

”Я расскажу тебе”. Она пододвинула коричневый покрытый лаком стул и села. Казалось, что в деревне Кром возродились Содом и Гоморра.

## Глава 10

Дэнис не танцевал, но когда неровный ритм потоком сладкой музыки и горячих ароматов, струйками бенгальских огней полился из пианолы, все в нем заплясало. Черные негритянские тельца пустились в пляс и забарабанили в его артериях. Он превратился во вместилище ритма, в ходячий дансинг. Это было неприятно, как начальные симптомы какой-то болезни. Он уселся на один из подоконников и нахмурился, делая вид, что читает.

За пианолой сидел Генри Уимбуш; он курил длинную сигару через янтарный мундштук и с выражением спокойного терпения выдавливал дребезжащую танцевальную музыку. Прижавшись друг к другу, Гомбольд и Анна двигались так согласованно, что казались одним существом с двумя головами и четырьмя ногами. Мистер Скоган с шутовской важностью, шаркая, перемещался по комнате вместе с Мэри. Дженни сидела в полумраке позади пианолы и, как казалось, что-то черкала в большом красном блокноте. Сидя в креслах у камина, Присилла и мистер Барбикью-Смит беседовали о высоких материях, и их, по-видимому, не беспокоил шум на Низшем Уровне.

“Оптимизм, — говорил, как о деле решенном, мистер Барбикью-Смит, заглушаемый звуками “Безумных, безумных женщин”, — оптимизм — это раскрытие души навстречу свету; это движение навстречу Богу и внутрь Бога, это стремление духовно сродниться с Бесконечным”.

“Как это верно!” — вздохнула Присилла, кивая зловещим великолепием своей прически.

“Пессимизм, напротив, — это бегство души навстречу мраку. Это концентрация личности на какой-либо точке Низшего Уровня; это духовное раболепство перед простыми фактами; перед грубыми физическими явлениями”.

“Они в безумца превратят меня”. В ушах Дэниса звучал припев. И превратят, черт бы их побрал! В безумца, но недостаточно безумного; в этом-то вся беда. Безумный внутри; яростный, бешеный — да “бешеный” — подходящее слово, мир, бешеный от страсти. Но внешне он был безнадежно ручным; внешне — бе-е, бе-е, бе-е.

И вот опять перед ним они, Анна и Гомбольд, движутся вместе, как будто это одно гибкое существо. Зверь о двух спинах. И он сел в углу, делая вид, что читает, что он не хочет танцевать и что он вообще презирает танцы. Зачем? Опять все то же бе-е, бе-е.

Почему он родился с другим лицом? Почему? У Гомбольда было лицо из меди — один из тех древних медных таранов, которые долбили стены городов, пока они не падали. Он родился с другим лицом — лицом, покрытым шерстью.

Музыка смолкла. Одно гармоническое существо распалось на два. Анна, покрасневшая и слегка запыхавшаяся, подскочила через всю комнату к пианоле и положила руку мистеру Уимбушу на плечо.

”Теперь, пожалуйста, вальс, дядя Генри”, — сказала она.

”Вальс, — повторил он и повернулся к ящику, где находились ролики. Он снял старый ролик и надел новый, раб на мельнице, ни на что не жалующийся и великолепно вышколенный. ”Рам; там; рам-ти-ти; там-ти-ти”... Мелодия тяжело поплыла, как корабль, который взбирается на маслянисто-гладкую волну. Четвероногое существо, еще более грациозное и гармоничное в своих движениях, чем раньше, заскользило по полу. О, зачем он был рожден с другим лицом?

”Что вы читаете?”

Вздروгнув, он поднял голову. Это была Мэри. Ей удалось вырваться из объятий мистера Скогана, который теперь завладел новой жертвой — Дженни.

”Что вы читаете?”

”Сам не знаю”, — честно признался Дэнис. Он посмотрел на титульный лист; книга называлась ”Карманный справочник скотовода”.

”По-моему, вы поступаете очень разумно, что сидите и спокойно читаете, — сказала Мэри, устремляя на него свои фарфоровые глаза. — Не понимаю, что люди находят в танцах. Это так скучно.”

Дэнис не отвечал; она его раздражала. С кресла у камина до него доносился низкий голос Присиллы.

”Скажите мне, мистер Барбикью-Смит, я знаю, вы хорошо разбираетесь в науке”... С кресла мистера Барбикью-Смита послышался протестующий звук. ”Это теория Эйнштейна. Похоже, что она разрушает всю звездную вселенную. Это сильно беспокоит меня из-за моих гомоскопов. Видите ли”...

Мэри возобновила атаку. ”Кто из современных поэтов вам нравится больше всего?” — спросила она. Дэнис пришел в ярость. Почему эта назойливая девица не может оставить его в покое? Он хотел слушать эту ужасную музыку, смотреть, как они танцуют — о, с какой легкостью, как будто они созданы друг для друга! — без помех упиться своим страданием. А тут явилась она и устранивает ему этот дурацкий экзамен! Прямо, как в ”Вопросах Мэнгольда”: ”Какие три болезни пшеницы вы знаете?” ”Кто из современных поэтов вам нравится больше всего?”

”Блайт, Милдью и Смай”, — ответил он лаконично, как человек, который абсолютно уверен в своих суждениях.

Прошло еще несколько часов прежде, чем Дэнис смог уйти спать

в этот вечер. Неясная, но мучительная безысходность овладела его воображением. И не одна только Анна заставляла его страдать; он сокрушался о самом себе, о будущем, вообще о жизни, о вселенной. "Эта молодость, то и дело повторял он себе, ужасно утомительная штука". Но знание болезни не помогало ему излечиться от нее.

Сбросив с кровати все белье, он поднялся, чтобы найти облегчение в творчестве. Он захотел заточить свою безымянную тоску в слова. Через час посреди клякс и перечеркиваний появилось девять более или менее завершенных строчек.

Не знаю сам, чего хочу я,  
Когда в смолкающих ночах  
Ветров многоголосый хор  
Спит в заколдованных ветвях.  
Не ведаю, чего ищу я...  
Где жизни звук, где смех добыть,  
Чтоб черный времени поток  
Каким-то чудом утолить...  
Не знаю сам, чего хочу я,  
Не знаю сам...

Он прочел это вслух, затем бросил исчерканный лист в мусорную корзину и снова лег в постель. Через несколько минут он спал.

## Глава 11

Мистер Барбикью-Смит уехал. Автомобиль умчал его на железнодорожную станцию; о его недавнем отъезде напоминал слабый запах сгоревшего бензина. Чтобы его проводить, во двор вышла довольно большая группа; теперь они возвращались, огибая дом в направлении террасы и сада. Они шли молча; никто еще не рискнул сказать что-нибудь об уехавшем госте. "Итак" — наконец сказала Анна, оборачиваясь к Дэнису с вопросительно поднятыми бровями.

"Итак?" Кому-то пора было начинать.

Дэнис отклонил приглашение; он передал его дальше мистеру Скогану. "Итак?" — сказал он.

Мистер Скоган не ответил; он лишь повторил вопрос: "Итак?"

Право вынести решение было оставлено Генри Уимбушу. "Очень приятный гость на выходной день", — произнес он гробовым голосом.

Не особенно интересуясь, куда идут, они спустились по крутой тисовой дорожке, которая проходила под краем террасы и вела к бассейну. Над ними вздымался дом, необычайно высокий, так как вся высота надстроенной террасы добавлялась к его собственному семидесятифутовому кирпичному фасаду. Перпендикулярные линии устремлялись вверх, усиливая впечатление высоты, пока оно не становилось ошеломляющим. Они остановились на берегу пруда и оглянулись.

"Тот, кто строил этот дом, знал свое дело, — сказал Дэнис. — Он был архитектором".

"Вряд ли, — задумчиво сказал Генри Уимбуш. — Сомневаюсь. Этот замок строил сэр Фердинандо Лэпис, живший во времена королевы Елизаветы. Он унаследовал имение от своего отца, которому оно было пожаловано при роспуске монастырей. Ведь Кром первоначально был монастырем, а этот пруд служил монахам рыбным садком. Сэр Фердинандо не хотел просто приспособить старые монастырские строения под свои нужды, но, используя их, как источник камня для своих амбаров, хлевов и служб, он выстроил огромный новый кирпичный дом — дом, который вы сейчас видите".

Он указал рукой на дом и умолк. Мрачный, внушительный, почти угрожающий, Кром высился над ними.

"Самое интересное в Кроме то, — сказал мистер Скоган, ухватившись за возможность заговорить, — что он является столь несомненным

и дерзким произведением искусства. Он не идет на компромисс с природой, но бросает ей вызов и восстает против нее. Он не похож на замок Шелли в "Эпипсихидионе", который, если я правильно помню

Как будто это — не создание рук людских  
Столь титаническое из глубин земных  
Как горы, те живые формы скал —  
Пещеры светлых и веселых зал  
Росли, слагаясь из живых камней...

Нет, Нет. В Кроме нет никаких таких глупостей. То, что крестьянским лачугам следует иметь такой вид, как будто они выросли из земли, с которой связаны их обитатели, несомненно, справедливо и удобно. Но дом умного, культурного и мыслящего человека ни в коем случае не должен казаться выросшим из грязи. Скорее, он должен быть выражением его великой проитвоестественной удаленности от земли. Это стало фактом уже с времен Уильяма Морриса, чего мы в Англии так и не смогли понять. Культурные и мыслящие люди серьезно разыгрывали из себя крестьян. Отсюда причуды, искусства и ремесла, архитектура коттеджей и все прочее. В предместьях наших городов вы можете увидеть повторяемые в бесчисленных вариантах нарочито затейливые имитации и подделки под деревенскую лачугу. Бедность, невежество и ограниченность материалов создали лачугу, которая в соответствующем окружении несомненно обладает своим собственным, "столь титаническим" очарованием. Мы же сейчас используем свое богатство, технические знания, широкое разнообразие материалов для того, чтобы строить миллионы имитаций лачуг в совершенно неподходящем окружении. Может ли глупость зайти дальше?"

Генри Уимбуш подхватил нить своего прерванного рассуждения. "Все, что вы говорите, дорогой Скоган, — начал он, — несомненно очень справедливо, очень верно. Но я сильно сомневаюсь, разделял ли сэръ Фердинандо ваши взгляды на архитектуру и имел ли он хоть какие-нибудь взгляды на архитектуру вообще. Должен сказать, что при постройке этого дома сэръ Фердинандо был занят одной мыслью — правильно расположить свои уборные. Санитария была единственным серьезным увлечением его жизни. В 1573 году он даже опубликовал небольшую книжицу, посвященную этой теме, — сейчас это огромная редкость — под названием "Некоторые Советы об Отхожих Местах. Писанные Одним из Достопочтенных Ее Величества Отхожих Мест Советников Ф.Л. Рыцарем", в которой предмет исследуется с большим знанием дела и изяществом. Его руководящим принципом при оборудовании домашнего санузла было обеспечение максимального расстояния между уборной и канализационной системой. Неизбежным следствием этого было то, что уборные должны были помещаться в верхней

части дома и соединяться с ямами или каналами в земле посредством вертикальных стволов. Не следует думать, что сэр Фердинандо руководствовался лишь материалистическими или чисто санитарными соображениями; для того, чтобы поместить свои уборные в возвышенных местах, у него имелись также довольно убедительные причины духовного порядка. Ибо, как утверждает он в третьей главе своих "Советов об Отхожих Местах", потребности естества настолько низменны и грубы, что, подчиняясь им, мы способны забыть о том, что являемся благороднейшими творениями вселенной. Чтобы противостоять этим пагубным влияниям, он считал, что уборная в каждом доме должна быть ближайшим к небу помещением, что она должна иметь окна, из которых открывается обширная и величественная панорама и что стены уборной должны быть уставлены книжными полками, содержащими все наиболее зрелые творения человеческой мудрости, как, например, "Притчи Соломоновы", "Об утешении философией" Бозция, изречения Эпиктета и Марка Аврелия, "Энхиридион" Эразма и другие произведения, древние и современные, свидетельствующие о благородстве человеческой души. В Кроме он смог осуществить свои теории на практике. На верху каждой из трех возвышающихся башен он поместил по уборной. От них шел ствол вниз по всей высоте дома, что составляло более 70 футов, через подвалы, разветвляясь на ряд каналов с проточной водой, прорытых в земле на уровне основания поднятой террасы. Эти каналы вытекали в ручей, находящийся в нескольких стах ярдах ниже рыбного садка. Общая глубина стволов от верхушек башен до подземных каналов составляла сто два фута. Восемнадцатый век, с его страстью к усовершенствованиям, уничтожил эти монументы санитарной изобретательности. Если бы не традиция и не подробный отчет, оставленный сэром Фердинандо, мы бы даже и не подозревали, что эти возвышенные уборные когда-либо существовали. Мы должны были бы даже предположить, что сэр Фердинандо выстроил свой дом по этому странному и величественному образцу, руководствуясь чисто эстетическими соображениями'.

Размышления о величии прошлого всегда вызывали в Генри Уимбуше некоторое воодушевление. Пока он говорил, его лицо двигалось и сияло под серым котелком. Мысль об этих исчезнувших уборных глубоко трогала его. Он умолк; свет медленно покинул его лицо, и оно опять сделалось дополнением к серьезной учтивой шляпе, прикрывавшей его. Наступило долгое молчание; казалось, что каждым овладели одни и те же слегка грустные мысли. Неизменность, недолговечность — исчез сэр Фердинандо со своими уборными, Кром продолжает стоять. Как ярко светит солнце и как неизбежна смерть! Пути Господни неисповедимы; пути человека еще более неисповедимы...

"Прямо сердце радуется, — воскликнул, наконец, мистер Скоган — когда слышишь об этих удивительных английских аристократах.

Иметь теорию относительно уборных и построить огромный, роскошный дом, чтобы воплотить ее в жизнь, — это чудесно, великолепно! Мне приятно думать о них обо всех: эксцентричные милорды, колесящие по Европе в громоздких каретах, занятые удивительными поисками. Один направляется в Венецию, чтобы купить горло Ла Бьянки; разумеется, он не получит его, пока она не умрет; неважно, он готов ждать; он обладает коллекцией заспиртованных в стеклянных банках глоток прославленных оперных певцов. А инструменты известных виртуозов — он и их собирает, он постарается умаслить Паганини, чтобы тот расстался со своим маленьким Гварнери, но у него мало надежды на успех. Паганини не продаст свою скрипку; но может быть он пожертвует одной из своих гитар. Другие помешались на восстаниях — и вот один умирает жалкой смертью среди диких греков, другой в белом шлеме ведет итальянцев на их угнетателей. Третьи вообще ничем не занимаются, они лишь демонстрируют свои чудачества на континенте. Дома они изошряются на досуге и более утонченно. Бекфорд строит башни, Портланд роет норы в земле, миллионер Кэвендиш живет в конюшне, не ест ничего, кроме баранины и развлекается — о, исключительно ради собственного удовольствия, — на полстолетия предвосхищая открытия в области электричества. Великие чудачки. Их присутствие оживляет каждое столетие. Когда-нибудь, дорогой Дэнис, — сказал мистер Скоган, поворачивая к нему блестящие, как бусинки, глазки, — когда-нибудь вы должны стать их биографом. "Жизнь Чудаков". Что за тема! Я сам бы хотел заняться ею".

Мистер Скоган умолк, еще раз взглянул на возвышающийся дом, затем два или три раза пробормотал слово "эксцентричность".

"Эксцентричность... В ней оправдание всех аристократий. Она оправдывает праздные классы и унаследованное богатство, привилегии и дарования, и все прочие несправедливости того же сорта. Чтобы сделать в этом мире что-нибудь разумное, необходим класс, состоящий из людей, которые надежно застрахованы от общественного мнения и нищеты, которые не работают и не обречены растрачивать свое время на идиотские занятия, именуемые Честным Трудом. Нужен класс, члены которого могут думать и, в известных границах, делать, что хотят. Необходим класс, в котором люди, обладающие эксцентричностью, могут себе ее позволить и в котором эксцентричность вообще будет терпима и понята. Вот что является самым важным в аристократии. Она не только эксцентрична сама по себе — и часто в грандиозных размерах; она также терпит и даже поощряет эксцентричность в других. Эксцентричность художника или модного философа не внушает им того страха, ненависти и отвращения, которые инстинктивно испытывают к ним буржуа. Это нечто вроде Резервации Краснокожих Индейцев, помещенной среди огромной орды Бедных Белых, как бы порабощенных пришельцами. В пределах резервации дикари развлекаются, следует

признать, часто несколько грубовато, немного слишком буйно, и, если по ту сторону границ рождаются сходные настроения, то это дает им что-то вроде убежища от той ненависти, которую Бедные Белые, *en bons bourgeois*, изливают на все буйное или отличающееся от обычного. После социальной революции не будет Резерваций, краснокожих утопят в великом море Бедных Белых. Что же тогда? Потерпят ли они, что вы продолжаете писать вилланеллы, мой добрый Дэнис? Позволят ли вам, бедный Генри, жить в этом доме роскошных уборных и продолжать спокойно рыться в залежах бесплодного познания? Позволят ли Анне”...

”А вам, — сказала Анна, перебивая его. — Позволят ли вам разглагольствовать?”

”Можете быть уверены, что нет, — ответил мистер Скоган. — Мне придется заняться каким-нибудь Честным Трудом”.

## Глава 12

”Блайт, Милдью и Смат”... Мэри была озадачена и взволнована. Может быть, ей изменил слух. Может быть, в действительности он сказал: ”Сквайр, Биньон и Шэнкс” или ”Чайлд, Бланден и Эрп” или даже ”Аберкромби, Дринкуотер и Рабиндранат Тагор”. Может быть. Но ведь слух ей пока еще не изменяет. ”Блайт, Милдью и Смат”. Воспоминание было отчетливым и неизгладимым. ”Блайт, Милдью”... она была вынуждена — с неохотой — прийти к заключению, что Дэнис в самом деле произнес эти невероятные слова. Он умышленно отверг ее попытку начать серьезный разговор. Это ужасно. Человек, который не хочет серьезно говорить с женщиной только потому, что это женщина — нет, это невозможно! Эгерия или ничего. Может быть, Гомбольд окажется лучше. Правда, ее несколько беспокоит его средиземноморская наследственность; но он, по крайней мере, занят серьезной работой, и ее привлекает именно его работа. А Дэнис? В конце концов, кто такой Дэнис? Какой-то дилетант, любитель...

Под студию Гомбольд захватил небольшой заброшенный амбар, который стоял отдельно позади двора фермы, окруженный зеленой изгородью. Это было квадратное кирпичное строение с острой крышей и маленкими окнами, расположенными высоко вдоль каждой стены. К двери вела приставная лестница с четырьмя ступеньками, так как амбар возвышался над землей на четырех массивных грибах из серого камня, недостижимый для крыс. Внутри устоялся слабый запах пыли и паутины; и в узком косом солнечном луче, который в любое время дня проходил через одно из маленьких окошек, всегда оживленно сновали серебристые пылинки. Здесь с какой-то сконцентрированной яростью работал Гомбольд каждый день по шесть-семь часов. Он искал нечто новое, нечто сногшибательное, если только он сможет это схватить.

В течение последних восьми лет, почти половина которых была потрачена на то, чтобы выиграть войну, он упорно прокладывал дорогу через кубизм. Теперь он вышел с противоположной стороны. Он начал с рисования формализованной природы, от которой постепенно поднимался в мир чистой формы пока, наконец, не стал рисовать лишь собственные мысли, облеченные в абстрактные геометрически фигуры, возникавшие в его мозгу. Он находил этот процесс нелегким, но радостным. А потом, совершенно неожиданно, он почувствовал неудовлетворенность; он ощутил себя стиснутым и ограниченным нестерпимо

узкими рамками. Он был унижен, поняв, как малочисленны, грубы и неинтересны те формы, которые он мог создать; создания природы, непостижимо утонченные и совершенные, не имели числа. Он порвал с кубизмом. Он вышел с обратной стороны. Но дисциплина кубизма не позволила ему впасть в крайность поклонения природе. Он брал у природы ее богатые, утонченные, совершенные формы, но его постоянной задачей было преобразить их в нечто целое, обладающее волнующей простотой и абстрактностью идей; сочетание максимального реализма с максимальным упрощением. Он постоянно помнил об удивительных достижениях Караваджо. Из мрака возникали формы дышащей, живущей действительности, выстраивались в композиции, бистательно простые и единственные, как математическая идея. Он думал о "Призвании Матфея", о "Распятом Петре", о "Лютистке", о "Магдалине". Он знал секрет, этот изумительный убийца, он знал секрет! И теперь Гомбольд искал его, гнался по следу. Да, это будет нечто сногшибательное, если только он сможет это схватить.

Долгое время в его мозгу ворочалась и вызревала, как на дрожжах, идея. Он сделал целую папку этюдов, он написал картон; а теперь эта идея обретала форму на холсте. Человек, упавший с лошади. Огромное животное, изможденная белая лошадь своим большим телом занимала верхнюю половину картины. Ее голова, опущенная к земле, находилась в тени; именно это огромное костлявое тело и приковывало взор; тело и ноги, которые опускались по обеим сторонам картины, как колонны арки. На земле, между ногами возвышающегося животного, лежала укороченная фигура человека, с головой на самом заднем плане и с широко раскинутыми вправо и влево руками. Белый безжалостный свет лился из точки справа на переднем плане. Животное и упавший человек были резко освещены; вокруг них, впереди них и за ними была ночь. Они были одни во мраке, в них была вселенная. Тепло лошади заполняло верхнюю часть картины; ноги, огромные копыта, неподвижно застывшие в топоте, ограничивали ее с обеих сторон. А внизу лежал человек с укороченным лицом в фокусном центре и руками, раскинутыми к сторонам картины. Под аркой конского живота, между ногами, взгляд наталкивался на сгущенный мрак; внизу пространство замыкалось фигурой распростертого человека. Мрачная бездна в центре, окруженная светящимися формами...

Картина была сделана более, чем наполовину. Гомбольд все утро проработал над фигурой человека и сейчас отдыхал — время выкурить сигарету. Откинувшись назад вместе со стулом так, что он касался стены, Гомбольд задумчиво смотрел на свою картину. Ему было приятно, и в то же время он чувствовал тревогу. Сама по себе вещь была хорошей; он это знал. Но то нечто, к которому он стремился, то нечто, которое будет таким сногшибательным, если только ему удастся схватить его — схватил ли он его? Схватит ли когда-нибудь?

Три осторожных стука — тук, тук, тук! Удивленный Гомбольд перевел глаза на дверь. Когда он работал, никто никогда не беспокоил его; это был один из неписанных законов. "Войдите!" — позвал он. Дверь, которая была приоткрыта, распахнулась настежь, и показалась фигура Мэри от пояса вверх. Она осмелилась подняться только до середины лестницы. Если он ее не пустит, то отступление будет более легким и почетным, чем если бы она поднялась на самый верх.

"Можно войти?" — спросила она.

"Разумеется". Она перескочила оставшиеся две ступеньки и через мгновение переступила порог. "Со второй почтой вам пришло письмо, — сказала она. — Я подумала, может быть что-то важное и вот — принесла его вам". Когда она вручала ему письмо, ее глаза, ее детское лицо сияли искренностью. Более прозрачного предлога и быть не могло.

Гомбольд взглянул на конверт и положил его в карман, не распечатывая. "К счастью, — сказал он, — ничего важного. Тем не менее, очень вам благодарен".

Наступило молчание; Мэри чувствовала себя несколько неловко. "Можно посмотреть, что вы рисуете?" — наконец осмелилась сказать она.

Гомбольд выкурил сигарету лишь до половины; в любом случае, он не начнет работу, пока не докурит. Он даст ей эти пять минут, которые отделяют его от неприятной обязанности. "Лучше всего смотреть на нее отсюда", — сказал он.

Некоторое время Мэри смотрела на картину, ничего не говоря. Она просто не знала, что сказать; она была поражена, она растерялась. Она ожидала увидеть шедевр кубизма, а перед ней была картина человека и лошади, не просто распознаваемых как таковые, но нарисованных даже вызывающе похоже. *Trompe l'oeil* — другими словами нельзя было определить изображение этой укороченной фигуры под топчущими ногами лошади. Она не знала, что подумать, что сказать? Она потеряла ориентировку. Можно восхищаться репрезентативизмом у Старых Мастеров. Несомненно. Но у современного?... В восемнадцать лет она еще могла бы это сделать. Но сейчас, после того, как она прошла пятилетнюю школу у лучших знатоков, ее инстинктивной реакцией на произведение репрезентативизма было презрение — взрыв унижительного смеха. Что задумал Гомбольд? Она чувствовала себя так спокойно, восхищаясь его прежними работами. Но сейчас — она не знала, что подумать. Ей было очень трудно.

"Довольно много светотени, не правда ли?" — рискнула она, наконец, и внутренне поздравила себя с тем, что нашла такую мягкую и одновременно такую глубокую критическую формулу.

"Верно", — согласился Гомбольд.

Мэри была польщена; он принял ее критическое замечание; это

была серьезная дискуссия. Она наклонила голову в сторону и прищурилась. "По-моему, это ужасно мило, — сказала она. — Но, конечно, это немного слишком... слишком... tropre-l'oeil на мой вкус". Она посмотрела на Гомбольда, который не отвечал, и продолжала, задыхаясь: "Когда я была в Париже этой весной, я часто виделась с Чуплицким. Я просто в восторге от его работ. Конечно, теперь это ужасно абстрактно — ужасно абстрактно и ужасно интеллектуально. Он лишь набрасывает на своем холсте несколько продольных фигур — совершенно плоских, понимаете, и нарисованных исключительно основными цветами. Но у него чудесная композиция. С каждым днем он становится все более абстрактным. Когда я была там, он отказался от третьего измерения и уже собирался отказаться от второго. Он говорит, что скоро будет только чистый холст. Это логическое завершение. Полная абстракция. Живопись кончилась, он ее завершает. Когда он достигнет чистой абстракции, он собирается заняться архитектурой. Он говорит, что это более интеллектуально, чем живопись. Вы согласны?" — спросила она с заключительным придыханием.

Гомбольд бросил окурок и наступил на него. "Чуплицкий кончил рисовать, — сказал он. — Я кончил сигарету. Но я продолжаю рисовать". И, приблизившись к ней, он обнял ее за плечи и повернул прочь от картины.

Мэри подняла на него глаза; ее волосы качнулись назад, беззвучный золотой колокольчик. Ее глаза были безмятежны; она улыбалась. Итак, этот миг настал. Его рука обнимала ее. Он двигался медленно, почти незаметно, и она двигалась вместе с ним. Это было бродячее объятие. "Вы с ним согласны?" — повторила она. Может быть, миг и настал, но она не перестанет быть интеллектуальной, серьезной.

"Не знаю. Мне придется подумать об этом". Гомбольд ослабил свое объятие, его рука упала с ее плеча. "Осторожно спускайтесь с лестницы", — заботливо добавил он.

Удивленная Мэри огляделась. Они находились перед открытой дверью. В замешательстве она на мгновение задержалась на месте. Она почувствовала, что рука, которая только что покоилась на ее плече, опустилась ниже вдоль ее спины; она произвела три или четыре доброжелательных, легких шлепка. Автоматически подчиняясь ее воздействию, Мэри подвинулась вперед. "Осторожно спускайтесь с лестницы", — сказал еще раз Гомбольд.

Она спускалась осторожно. Дверь за ней закрылась, и она очутилась одна в маленькой зеленой загородке. Она медленно прошла назад через двор фермы; она была задумчива.

## Глава 13

К обеду Генри Уимбуш спустился, неся с собой книгу отпечатанных листов, неплотно переплетенных в картонную обложку.

”Сегодня, — сказал он, несколько торжественно показывая на нее, — сегодня я закончил печатать мою ”Историю Крома”. Днем я помогал набирать последнюю страницу”.

”Знаменитая ”История”, — воскликнула Анна. Писание и печатание этого *Magnum Opus*’а длилось столько, сколько она себя помнила. В продолжение всего ее детства ”История” дяди Генри была неясной, мифической вещью, о которой часто говорили, но никогда не видели.

”Я потратил на нее почти 30 лет, — сказал мистер Уимбуш — Двадцать пять лет на писание и почти четыре — на печатание. И вот она закончена — вся хроника, начиная с рождения сэра Фердинандо Лэписа и кончая смертью моего отца Уильяма Уимбуша — более трех с половиной столетий: история Крома, написанная в Кроме и отпечатанная в Кроме на моем собственном печатном станке.

”Будет ли нам позволено прочесть ее теперь, когда она закончена?” — спросил Дэнис.

Мистер Уимбуш кивнул. ”Конечно, — сказал он — И я надеюсь, что вы найдете ее небезынтересной, — добавил он скромно. — Наша библиотека особенно богата старинными рукописями, и я имею возможность показать в совершенно новом свете историю введения трехзубой вилки”.

”А люди? — спросил Гомбольд. — Сэр Фердинандо и остальные — были они забавны? Случались ли в семье какие-нибудь преступления или трагедии?”

”Дайте подумать, — задумчиво почесал подбородок Генри Уимбуш. — Сейчас я могу припомнить только два самоубийства, одну насильственную смерть, четыре или, может быть, пять разбитых сердец и полдюжины пятнышек на репутации, вреде мезальянсов, оболъщений, внебрачных детей и так далее. Нет, в общем, это спокойная история без особых событий”.

”Уимбуши и Лэписы всегда были респектабельны и не любили рисковать, — сказала Присилла с ноткой презрения в голосе. — Если бы сейчас мне довелось писать историю моей семьи! Что ж, это было бы длинное, непрерывное пятно от начала и до конца”. Она весело рассмеялась и налила себе еще стаканчик вина.

”Если бы мне пришлось писать о своей, — заметил мистер

Скоган, — то она бы и не появилась. После второго поколения мы, Скоганы, теряемся во мраке времен”.

”После обеда, — сказал Генри Уимбуш, несколько задетый пренебрежительным комментарием своей жены относительно владельцев Крома, — я прочитаю вам главу из моей ”Истории”, которая заставит вас признать, что и у Лэписов были свои трагедии и странные приключения, хотя и на свойственный им респектабельный лад.

”Рада это слышать”, — сказала Присилла.

”Рада слышать что?” — спросила Дженни, внезапно выглянув из своего внутреннего мира, как кукушка из часов. Она выслушала объяснение, улыбнулась, кивнула, затем прокуковала ”Понятно” и прыгнула назад, захлопнув за собой дверцу.

Обед был съеден; общество перешло в гостиную.

”Итак”, — сказал Генри Уимбуш, подвигая стул к лампе. Он надел круглое пенсне в черепаховой оправе и начал осторожно переворачивать страницы своей неплотно переплетенной и еще неполной книги. Наконец, он нашел нужное место. ”Можно начинать?” — спросил он, поднимая глаза.

”Давайте”, — сказала Присилла, зевая.

Среди внимательного молчания мистер Уимбуш предварительно откашлялся и начал читать.

”Мальчик, которому было суждено стать четвертым баронетом из дома Лэписов, родился в 1740 году. Это был очень маленький ребенок, весивший при рождении не более трех фунтов, но с самого начала он был очень крепким и здоровым. В честь своего деда по матери, сэра Геркулеса Оккэма из Бишопс Оккэм, при крещении он был назван Геркулесом. Его мать, как многие матери, вела дневник, в который из месяца в месяц записывала, как он рос.

”В десять месяцев он ходил, и когда ему еще не было и двух лет, он уже научился произносить многие слова. В три года он весил всего двадцать четыре фунта, а в шесть, хотя он мог отлично читать и писать и обнаруживал замечательные способности к музыке, он был не крупнее и не тяжелее нормального двухлетнего ребенка. Тем временем его мать родила еще двоих детей, мальчика и девочку, один из которых еще в младенчестве умер от крупа, тогда как другую унесла оспа, когда ей еще не было пяти лет. Геркулес остался единственным выжившим ребенком.

”В двенадцать лет Геркулес все еще имел рост три фута и два дюйма. Его голова, которая была очень красивой и имела превосходную форму, была слишком велика для его тела, но во всем остальном он был удивительно пропорционален и для своего роста обладал большой силой и ловкостью. Надеясь заставить его расти, родители обращались к самым выдающимся врачам того времени. Их всевозможные предписания выполнялись буквально, но тщетно. Один

рекомендовал очень обильную мясную диету, другой упражнения; третий сконструировал маленькую дыбу, по образцу тех, которые применялись святой инквизицией. На ней юного Геркулеса вытягивали по полчаса утром и вечером, и при этом он испытывал ужасные страдания. В течение следующих трех лет Геркулес вырос, может быть, еще на два дюйма. После этого его рост прекратился совершенно, и он навсегда остался карликом трех футов и четырех дюймов. Его отец, который возлагал на сына самые неумеренные надежды и уже видел его на пороге военной карьеры, не менее блестящей, чем у Мальборо, счел себя обманутым. "Я произвел на свет урод", — часто говорил он, и так сильно возненавидел сына, что тот едва осмеливался появляться в его присутствии. Его нрав, ранее спокойный, из-за разочарования сделался замкнутым и диким. Он избегал общества людей (говоря, что ему, отцу *lusus naturae*, стыдно показываться среди нормальных, здоровых людей) и начал пить в одиночестве. Это очень скоро свело его в могилу; за год до совершеннолетия Геркулеса его отец умер от апоплексического удара. Его мать, чья любовь к нему увеличивалась по мере того, как росло ожесточение отца, прожила недолго. Немного более, чем через год после смерти мужа она умерла от тифозной горячки, съев две дюжины устриц.

Так, оставшись в 21 год один во всем мире, Геркулес сделался владельцем значительного состояния, включающего имение и замок в Кроме. Красота и разум, которыми он обладал в детстве, сохранились и в зрелом возрасте и, если бы не его карликовый рост, он бы занял подобающее ему место среди самых красивых и воспитанных молодых людей своего времени. Он хорошо знал греческих и латинских авторов, равно как и всех сколько-нибудь значительных современных, писавших по-английски, по-французски или по-итальянски. Он обладал хорошим музыкальным слухом и изрядно играл на скрипке, которую обычно держал, как виолончель, сидя на стуле с инструментом между колен. К музыке терпсикорда и клавикордов он был чрезвычайно чувствителен, но его руки были слишком малы, чтобы он мог играть на этих инструментах. У него была маленькая флейта из слоновой кости, изготовленная специально для него, на которой всегда, когда ему бывало грустно, он играл какую-нибудь простую сельскую мелодию или джигу, утверждая, что эта сельская музыка обладает большей способностью рассеять печаль и поднять настроение, чем самые искусные творения мастеров. С ранних лет он упражнялся в писании стихов, но, сознавая свои большие способности в этом искусстве, он ни разу не опубликовал ни одного своего сочинения. "Мой рост, — говорил он, — отражается в моих стихах; если бы публика и стала их читать, то не потому, что я поэт, но потому, что я карлик". Сохранилось несколько рукописных книг стихов сэра Геркулеса. Достаточно одного примера, чтобы дать о нем представление как о поэте.

Когда весь мир был молодым, когда  
Не пел Гомер, Адам не пас стада,  
Когда Тувал огонь оставил нам.  
Когда Иувал ударил по струнам,  
Плоть выродилась и земле дала  
Гигантов мерзких грубые тела.  
Терпеть их Богу не хватило сил,  
Наслав потоп, Он всех их утопил.  
И вновь была земля населена,  
Героев грозных родила она.  
Огромен, словно башня, туп и рьян  
Был каждый героический болван.  
Прошли века, стал тоньше род людской,  
Умом сильней, хотя слабей рукой,  
Смеемся мы над луком и мечом,  
Зато перо нам просто нипочем!  
Страницы книг и краски полотна  
За веком век бессмертят имена.  
И в храме славы глас людской звучал,  
Росло искусство, человек мельчал.  
Прогресс идет-бредет по мере сил:  
Гигант погиб – герой его сменил,  
Гигант внушал нам страх, а тот – баран,  
Тупица, преотважнейший чурбан,  
Смех вызывал... Последним на земле  
Стал человек, с печатью на челе  
Живого разума, который в нем  
Пылает мудрым творческим огнем.  
Во дни тех битв, в те смутные года  
Был человек лишь плотью, и тогда  
Она изнашивала хрупкий дух  
Был разум слеп, бездейтелен, глух,  
Но остов становился легче, и  
Душа за игры принялась свои.  
Светя лучами мысли, как Фарос,  
Она все время ставит нам вопрос:  
Ужели Провиденье бросит нас  
И восхождение прекратит в свой час?  
Ужели человечество пойдет  
Не дальше героических высот?  
Мысль нечестива! Мы – не только плоть,  
К Земле Обетованной сам Господь  
Ведет нас (Да, я вижу дальний свет  
На мрачном небе наших темных лет).

Но в веке золотом наш славный род  
Историю назад листать начнет,  
И станет вновь хваленый род людской  
Тупым гигантом с мощною рукой.  
Но час придет, и духа торжество  
Избавится почти что от всего —  
Чтоб грандиозная душа несла  
Спортивные и стройные тела.  
И этот совершенный человек  
Всю землю унаследует навек,  
Но ах, но — не совсем: гигантов род  
Еще топочет, воеет и орет  
Огромные и мерзкие, они  
Гордыней заполняют наши дни.  
В несовершенстве, в хвастовстве людском  
Живет еще гигант с тупым умом,  
Все небольшое презирает он,  
Урод в свою божественность влюблен!  
И как печальна жизнь пророков тех,  
Кто в мир пришел столь рано, как на грех,  
Провидя в славе человечесий род,  
Стремится в небо, но в аду живет!

”Вступив во владение состоянием, сэр Геркулес сразу же приступил к преобразованию своего имения. Ибо, хотя он ни в коей мере и не стыдился своего малого роста, и в самом деле, если судить по стихотворению, приведенному выше, он считал, что во многих отношениях превосходит людей обычной породы — он находил для себя стеснительным присутствие мужчин и женщин нормального роста. Кроме того, понимая, что он должен отказаться от всех устремлений в большом мире, он решил совершенно удалиться из него и создать в Кромее, так сказать, свой собственный мир, в котором все должно было быть пропорционально ему самому. Поэтому он уволил всех прежних слуг дома и постепенно, по мере того, как ему удавалось найти подходящих преемников, заменял их новыми, имевшими карликовый рост. В течение нескольких лет он собрал у себя многочисленную дворню, среди которой не было никого выше четырех футов, а самый маленький едва достигал двух футов и шести дюймов. Отцовских собак — сеттеров, мастифов, борзых и свору гончих он распродал или раздал как слишком больших и шумливых для его дома, заменив их мопсами и спаньелями, а также собаками разных других самых мелких пород. Конюшню отца он тоже продал. Для собственного употребления, как для езды верховой, так и в упряжке у него было шесть черных шотландских

пони, а также четыре специально отобранных пегих животных нью-форестской породы.

”Когда имение было таким образом устроено в соответствии с его вкусами, ему лишь оставалось найти себе подходящую подругу, которая бы разделила с ним его рай. Сэр Геркулес обладал чувствительным сердцем, и между шестнадцатью и двадцатью годами ему уже не раз доводилось испытать любовь. Но здесь его уродство послужило причиной глубочайшего унижения, ибо, осмелившись однажды объясниться с одной молодой девицей, которую он избрал, он был высмеян в ответ. Так как он настаивал, она схватила его и, встряхнув, как назойливого ребенка, сказала, чтобы он уносил ноги и перестал ей надоедать. Вскоре история распространилась — да и сама девица любила ее рассказывать как особенно забавный анекдот — и насмешки, и унижения, которые она вызывала, стали для Геркулеса источником необычайно сильного потрясения. Из стихов, написанных в этот период, мы узнаем, что он замыслил лишиться себя жизни. С течением времени, однако, это унижение изгладилось из его памяти; но никогда более, несмотря на то, что он часто влюблялся, и очень страстно, он не осмеливался даже приблизиться к тем, кто его интересовал. Вступив во владение наследством и поняв, что положение позволяет ему создать свой собственный мир так, как он хочет, он увидел, что если ему суждено иметь жену — а он этого очень хотел, обладая нежным и поистине влюбчивым темпераментом, — он должен выбрать ее так же, как он выбрал своих слуг, — из породы карликов. Но найти подходящую жену, как он увидел, оказалось делом довольно затруднительным; ибо он хотел жениться только на той, которая бы отличалась красотой и благородным происхождением. Он отказался от карлицы, дочери лорда Бемборо, по той причине, что, помимо карликового роста, она была горбатой; в то же время им была отвергнута другая девушка, сирота, происходившая из очень хорошего хэмпширского рода, потому что ее лицо, как это часто бывает у карликов, было сморщенным и безобразным. Наконец, когда он уже почти перестал надеяться на успех, он узнал из надежного источника, что граф Титимало, венецианский дворянин, имеет удивительно красивую и очень ученую дочь всего трех футов ростом. Тотчас же отправившись в Венецию, он немедленно по приезде явился засвидетельствовать почтение графу, которого нашел живущим с женой и пятью детьми в очень плохой квартире в одном из бедных кварталов города. Граф действительно находился в столь стесненных обстоятельствах, что в это время даже вел переговоры (такие ходили слухи) с бродячей группой клоунов и акробатов, которая имела несчастье лишиться выступавшего в ней карлика, о продаже своей миниатюрной дочери Филомены. Сэр Геркулес прибыл вовремя, чтобы спасти ее от этой печальной участи, ибо он был столь сильно очарован благородством и красотой Филомены, что к концу

трехдневного ухаживания сделал ей формальное предложение выйти за него замуж, которое она приняла с не меньшей радостью, чем ее отец, почувствовавший в этом английском зяте щедрый и неиссякаемый источник дохода. После скромной свадьбы, на которой в качестве одного из свидетелей выступил английский посол, сэр Геркулес и его молодая жена морем вернулись в Англию, где они обосновались, как оказалось, для спокойной и счастливой жизни.

”Кром и его карликовая дворня привели в восторг Филомену, которая здесь впервые почувствовала себя свободной женщиной, живущей среди равных себе в дружеском мире. Она имела много общего со своим мужем, особенно это относилось к ее склонности к музыке. У нее был перкрасный голос, обладавший силой, удивительной у столь маленького создания, и она без труда могла брать альтовое ”ля”. В сопровождении мужа, игравшего на своей прекрасной кремонской скрипке, которую он держал, как держат виолончель, о чем мы уже упоминали ранее, она пела все самые веселые и нежные арии из опер и кантат своей родины. Сидя вместе за терпсикордом, они обнаружили, что могут в четыре руки играть всю музыку, написанную для двух рук обычного размера — обстоятельство, ставшее неисчерпаемым источником удовольствия для сэра Геркулеса.

Когда они не играли и не читали вместе, а делали они это часто, как по-английски, так и по-итальянски, они проводили время в полезных упражнениях на свежем воздухе. Иногда они занимались греблей на озере в маленькой лодке, но чаще ездили верхом или в карете — занятия, которые, из-за своей полной для нее новизны, приводили Филомену в особенный восторг. После того, как Филомена в совершенстве овладела искусством верховой езды, она и ее супруг часто выезжали на охоту в парк, который в то время был гораздо более обширным, чем сейчас. Они охотились не на лисиц или зайцев, а на кроликов, со сворой, насчитывавшей примерно тридцать черных и желтокоричневых мопсов — породы собак, которые, если только они не слишком жирные, могут преследовать кроликов, а также других мелких животных. Четыре груга-карлика, одетых в алые ливреи, верхом на белых эксмурских пони управляли сворой, тогда как их господин и госпожа в зеленых костюмах следовали за ними либо на черных шетландских либо на гнедых ньюфорестских пони. Уильям Стабс написал картину, изображающую всю охоту — собак, лошадей, гругов и хозяев. Сэр Геркулес был настолько восхищен его работами, что даже пригласил его, человека нормального роста, погостить в замке, чтобы написать эту картину. Кроме того, Стабс написал портрет сэра Геркулеса и его супруги, сидящих в своей зеленой коляске, в которую запряжены четыре черных шетландца. Сэр Геркулес одет в темно-фиолетовый бархатный сюртук и белые панталоны; на Филомене платье из цветастого муслина и очень большая шляпа с розовыми перьями. Обе фигуры в

яркой карете резко выделяются на темном фоне деревьев; но с левой стороны картины деревья редеют и пропадают, так что четверка черных пони видна на фоне бледного и странно зловещего неба, имеющего золотисто-коричневый цвет грозовых туч, освещенных солнцем.

”Так счастливо миновало четыре года. К концу этого срока Филомена почувствовала, что она беременна. Сэр Геркулес был счастлив. ”Если Бог будет милостив, — писал он в своем дневнике, — то имя Лэписов сохранится, и наша более редкая и более утонченная порода будет переходить через поколения до тех пор, пока в надлежащее время мир не признает превосходство тех, над кем ныне привык смеяться”. Когда его жена родила мальчика, он сочинил стихотворение, посвященное этому событию. Дитя окрестили Фердинандо в память того, кто построил дом.

”По прошествии нескольких месяцев в сердца сэра Геркулеса и его супруги начало закрадываться чувство некоторого беспокойства. Дело в том, что ребенок рос с необыкновенной быстротой. В год он весил столько же, сколько Геркулес, когда ему было три. ”Фердинандо растет крещендо, — писала Филомена в своем дневнике. — Это кажется неестественным”. В полтора года ребенок был почти такого же роста, что и их самый маленький жокей, мужчина тридцати шести лет. Возможно ли, что Фердинандо предназначено стать человеком нормальных, гигантских размеров? Это была мысль, которую ни один из его родителей еще не осмеливался выразить вслух, но каждый из них в тайне от другого размышлял над этим в своем дневнике со страхом и унынием.

”Когда Фердинандо исполнилось три года, он был выше своей матери и не более, чем на пару дюймов ниже отца. ”Сегодня мы впервые, — писал сэр Геркулес, — обсудили положение. Более нельзя скрывать ужасную истину. Фердинандо не такой, как мы. Сегодня, в день его трехлетия, в день, когда нам следовало бы радоваться здоровью, силе и красоте нашего дитяти, мы вместе оплакивали гибель своего счастья. Господи, дай нам силы снести этот крест”.

”В восемь лет Фердинандо был таким большим и удивительно здоровым, что родители решили — правда, неохотно — послать его в школу. В начале следующего семестра его отправили в Итон. В доме установилось полное спокойствие. Фердинандо приехал на летние каникулы еще больше и сильнее, чем раньше. Однажды он сбил с ног дворецкого и сломал ему руку. ”Он груб, невнимателен и не поддается убеждениям, — писал его отец. — Единственное, что научит его себя вести, это телесное наказание”. Фердинандо, который в это время был уже на семнадцать дюймов выше своего отца, так и не получил телесного наказания.

”Однажды, спустя три года, Фердинандо приехал на летние

каникулы в сопровождении очень большого мастифа. Он купил его в Виндзоре у какого-то старика, который решил, что кормление пса обходится ему слишком дорого. Это была свирепая, ненадежная тварь. Не успев появиться в доме, мастиф напал на одного из любимых мопсов сэра Геркулеса, вцепился в него зубами и мотал так, что тот едва не издох. Сэр Геркулес был чрезвычайно разгневан этим происшествием и приказал посадить животное на цепь во дворе конюшни. Фердинандо угрюмо ответил, что собака принадлежит ему и что он будет держать ее, где захочет. Отец, начиная сердиться, приказал ему немедленно удалить животное из дома под страхом его гнева. Фердинандо не пошевелился. В это время в комнату вошла его мать. Пес налетел на нее, сбил с ног и в одно мгновение очень сильно искусал ей руку и плечо; через минуту он несомненно вцепился бы ей в горло, если бы сэр Геркулес не выхватил свою шпагу и не пронзил животное в сердце. Повернувшись к сыну, он приказал ему немедленно покинуть комнату, так как он не достоин находиться в одном месте с матерью, которую он едва не убил. Вид сэра Геркулеса, державшего одну ногу на теле гигантского пса, с обнаженной шпагой, с которой все еще стекала кровь, был столь внушителен, так повелителен был его голос, жесты и выражение лица, что Фердинандо на цыпочках в страхе выскользнул из комнаты и всю остальную часть каникул вел себя самым примерным образом. Вскоре его мать оправилась от укусов мастифа, но влияние этого события на ее рассудок было неизгладимо; с этого времени она постоянно жила среди воображаемых ужасов.

”Два года, которые Фердинандо провел на Континенте, совершая обычное путешествие, были для его родителей периодом счастливой передышки. Но и тогда их преследовала мысль о будущем; никакие развлечения их молодости не могли принести им успокоения. Леди Филомена лишилась голоса, а сэр Геркулес слишком страдал от ревматизма, чтобы играть на скрипке. Правда, он все еще ездил верхом за своими мопсами, но его жена чувствовала себя слишком старой и, после происшествия с мастифом, слишком нервной для подобных развлечений. В лучшем случае, чтобы доставить удовольствие своему мужу, она следовала за охотой на расстоянии в маленьком кабриолете, запряженном самыми спокойными и старыми шетландцами.

Наступил день, назначенный для возвращения Фердинандо. Филомена, которой было не по себе из-за смутных страхов и предчувствий, удалилась в свою комнату и легла в постель. Сэр Геркулес встретил сына один. В комнату вошел гигант в коричневом дорожном костюме. ”Добро пожаловать, сын мой,” — сказал сэр Геркулес голосом, который слегка дрожал.

”Надеюсь, вы здоровы, сэр”. Фердинандо согнулся для рукопожатия и снова выпрямился. Макушка его отца находилась на одном уровне с его бедром.

”Фердинандо приехал не один. Его сопровождали два товарища одного с ним возраста, и каждый из молодых людей привез с собой слугу. В течение тридцати лет Кром не оскверняло присутствие такого количества представителей обычной человеческой породы. Сэр Геркулес был расстроен и возмущен, но приходилось подчиниться законам гостеприимства. Он встретил молодых людей с мрачной вежливостью, а слуг отослал на кухню, приказав, чтобы о них хорошо позаботились.

”На свет был вытасчен старый фамильный обеденный стол, с которого стерли пыль (сэр Геркулес и его супруга привыкли обедать за маленьким столом в двадцать дюймов высотой”). Саймону, старому дворецкому, который был в состоянии лишь заглядывать через край большого стола, за ужином помогало трое слуг, сопровождавших Фердинандо и его гостей.

”Сэр Геркулес сидел во главе стола и со свойственным ему тактом поддерживал беседу об удовольствиях путешествий за границу, о красотах искусства и природы, с которыми путешественник сталкивается за рубежом, об опере в Венеции, о пении мальчиков в церквях этого города и о других предметах того же рода. Молодые люди были не особенно внимательны к его рассказу, они были заняты тем, что наблюдали за усилиями дворецкого, менявшего блюда и наполнявшего стаканы. Они скрывали свой смех за сильными и повторяющимися приступами кашля или притворяясь, что давятся. Сэр Геркулес делал вид, что не замечает этого и перевел разговор на спорт. На это один из молодых людей спросил, правда ли, что, как ему говорили, он охотится на кроликов со сворой мопсов. Сэр Геркулес отвечал, что это верно и начал описывать некоторые подробности травли. Молодые люди покатались со смеху.

”Когда ужин закончился, сэр Геркулес сполз со своего стула, и под тем предлогом, что он должен посмотреть, как себя чувствует его леди, удалился, пожелав им доброй ночи, звук смеха следовал за ним, пока он поднимался по лестнице. Филомена не спала; она лежала в кровати, прислушиваясь к звукам оглушительного смеха и топота неприятно тяжелых шагов на лестницах и вдоль коридоров. Сэр Геркулес подвинул стул к ее постели и долгое время молча сидел, держа руку своей жены и время от времени нежно сжимая ее. Примерно в десять часов их испугал сильный шум. Послышался звук разбитого стекла, топот ног, крики и взрыв смеха. Шум продолжался уже несколько минут, когда сэр Геркулес поднялся со стула и, несмотря на мольбы своей жены, приготовился пойти и посмотреть, что случилось. На лестнице не было света, и сэр Геркулес шел вниз наощупь, осторожно спускаясь со ступеньки на ступеньку и на мгновение останавливаясь на каждом шагу, прежде чем решиться на следующий. Здесь шум был сильнее, в криках можно было разобрать отдельные слова и фразы. Под дверью столовой виднелась полоса света. Направляясь к ней, сэр Геркулес на

цыпочках пересек зал. Как только он приблизился к двери, послышался еще раз ужасный звон разбитого стекла и лязг металла. Что они могут там делать? Став на цыпочки, он сумел заглянуть в замочную скважину. Посреди разгромленного стола старый Саймон, дворецкий, упившийся настолько, что с трудом мог сохранять равновесие, танцевал джигу. Под его ногами хрустело и звенело битое стекло, а его туфли были мокры от разлитого вина. Трое молодых людей сидели вокруг и стучали по столу руками или пустыми винными бутылками, ободряя его смехом и криками. Трое слуг тоже смеялись, прислонившись к стене. Внезапно Фердинандо запустил горстью каштанов в голову танцора. Это так изумило человечка и было для него настолько неожиданным, что он пошатнулся и упал на спину, опрокинув графин и несколько стаканов. Они подняли его, дали выпить брэнди, похлопывая по спине. Старик улыбался и икал. "Завтра мы устроим общий балет всей дворни, — сказал Фердинандо. — А папа Геркулес возьмет свою дубинку и наденет львиную шкуру", — прибавил один из его товарищей, и все трое громко расхохотались.

"Сэр Геркулес не захотел более ни смотреть, ни слушать. Он снова пересек зал и начал подниматься по лестнице, с трудом подымая высоко колени на каждой ступеньке. Это был конец; теперь для него не было места в мире, мир был тесен для него и Фердинандо.

"Его жена все еще не спала; на ее вопросительный взгляд он ответил: "Они издеваются над старым Саймоном. Завтра будет наш черед". Некоторое время они молчали. Наконец, Филомена сказала: "Я не хочу увидеть завтра". "Так будет лучше," — сказал сэр Геркулес. Войдя в свой кабинет, он записал в дневник полный и подробный отчет о событиях этого вечера. Все еще занятый этим делом, он позвонил слуге и приказал приготовить себе ванну с горячей водой к одиннадцати часам. Закончив писать, он вошел в комнату жены, приготовил дозу опиума в двадцать раз более сильную, чем та, которую она обычно принимала, когда не могла уснуть, и подал ей со словами: "Вот ваше сонное питье".

"Филомена взяла стакан, но не выпила его сразу, а некоторое время лежала. На ее глазах выступили слезы. "Помните ли вы песни, которые мы пели всегда летом, сидя на *sulla terrazza*?" Своим чуть слышным, надтреснутым голосом она тихо пропела несколько тактов из Страделла "Amor, amor, non dormir più." И вы играли на скрипке. Кажется, это было так недавно и все же так давно, так давно. "Addio, amore. A rivederti". Она выпила питье и, откинувшись на подушку, закрыла глаза. Сэр Геркулес поцеловал ей руку и удалился на цыпочках, как будто боялся разбудить ее. Он вернулся в кабинет и, записав последние слова жены, обращенные к нему, налил в ванну воду, которая была уже принесена, согласно его приказанию. Вода была слишком горячей, и он не вошел в ванну сразу, а взял с полки Светония.

Он хотел прочитать о том, как умер Сенека, и открыл книгу наугад. "Но к карлика́м, — прочитал он, — он питал отвращение, считая их *lulus naturae* и дурной приметой". Он вздрогнул, как будто его ударили. Он вспомнил, что тот же Август показывал в амфитеатре молодого человека благородного происхождения по имени Луций, который не достигал полных двух футов в высоту и весил семнадцать фунтов, но голос имел неслышанно громкий. Он перевернул несколько страниц. Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон — это была повесть нарастающего ужаса. "Своего воспитателя Сенеку он заставил лишиться себя жизни". И Петроний, который перед смертью призвал к себе друзей и попросил их говорить с ним не об утешениях философии, но о любви и любовных приключениях, в то время как жизнь вытекала из него через вскрытые вены. Он еще раз обмакнул перо в чернила и записал на последней странице своего дневника: "Он умер смертью римлян". Затем, опустив пальцы одной ноги в воду и найдя, что она не очень горячая, он сбросил с себя халат и, взяв в руку бритву, сел в ванну. Одним движением он глубоко перерезал артерию на левой кисти, затем лег на спину и погрузился в размышления. Кровь медленно вытекала, проплывая в воде растворявшимися клубками и спиральями. Скоро вся ванна сделалась слегка розовой. Цвет сгущался; сэр Геркулес почувствовал, что им овладела непобедимая сонливость; он погружался из одного смутного сна в другой. Вскоре он крепко уснул. В его маленьком теле было не много крови."

## Глава 14

Пить кофе после ленча все общество перешло в библиотеку. Ее окна выглядывали на восток, и в это время здесь было самое прохладное место во всем доме. Это была большая комната, уставленная в XVIII столетии белыми крашеными полками изящной формы. Посредине одной стены находилась дверь, искусно замаскированная рядами книжных макетов и открывавшая доступ в глубокий шкаф, где, окруженный связками писем и старых газет, вырисовывался в темноте саркофаг мумии знатной египетской дамы, который привез из своего путешествия сэр Фердинандо — второй. На расстоянии десяти ярдов с первого взгляда можно было даже принять эту потайную дверь за ряд полок, уставленных настоящими книгами. Перед ложной книжной полкой стоял мистер Скоган с чашкой кофе в руках. Между глотками он ораторствовал.

“Нижняя полка, — говорил он, — занята энциклопедией в четырнадцать томах. Полезно, но скучновато, так же, как и “Словарь финского языка” Капрималга. “Биографический словарь” выглядит более многообещающе. “Биографии людей, родившихся великими”, “Биографии людей, добившихся величия”, “Биографии людей, которым было навязано величие” и “Биографии людей, которые вообще никогда не были великими”. Далее следуют десять томов “Трудов и путешествий Томса”, а “В погоне за призраком”, роман, принадлежащий перу неизвестного автора, занимает не менее шести. Но что это, что это? — Мистер Скоган приподнялся на цыпочки и всмотрелся. — Семь томов “Повестей Нокеспотча”. “Повести Нокеспотча”, — повторил он. — Дорогой Генри, — сказал он, обернувшись, — здесь ваши лучшие книги. Я бы охотно отдал за них всю вашу остальную библиотеку”.

Мистер Уимбуш, счастливый обладатель множества первых изданий, позволил себе снисходительно улыбнуться.

“Быть может — продолжал мистер Скоган, — они имеют лишь обложку и название?” Он отворил дверцу шкафа и заглянул внутрь, как бы надеясь найти за ней и сами книги. “Фу! — сказал он и снова закрыл дверцу. — Пахнет пылью и плесенью. Как символично! Люди приходят к великим творениям прошлого, ожидая какого-то чудесного озарения, но, открыв их, находят лишь мрак и пыль, и слабый запах гниения. В конце концов, что такое чтение, как не порок, вроде пьянства или разврата или любой другой формы чрезмерного потворства своим слабостям? Люди читают, чтобы пощекотать и развлечь свой

разум, и, главное, люди читают, чтобы помешать себе думать. И все же... "Повести Нокеспотча"...

Он помолчал и задумчиво забарабанил пальцами по обложкам несуществующих, недостижимых книг.

"Но я не согласна с вами относительно чтения, — сказала Мэри. — Я имею в виду серьезное чтение".

"Вы правы, Мэри, вы правы, — ответил мистер Скоган. — Я совсем забыл, что в комнате находятся еще и серьезные люди".

"Мне нравится мысль о биографиях, — сказал Дэнис. — В пределах этой схемы найдется место каждому из нас; она всеобъемлюща".

"Да, биографии — это неплохо, биографии — это отлично, — согласился мистер Скоган. — Я их представляю себе написанными очень изящным стилем времен Регенства — Брайтонский павильон из слов — их автором мог бы стать сам доктор Лемприе. Вы знаете его классический словарь? О!" Мистер Скоган поднял руку и дал ей свободно упасть. Этот жест должен был обозначать, что у него нет слов. "Прочтите его биографию Елены, прочтите, как Юпитер в облике лебедя" получил возможность воспользоваться своим положением", оставшись *vis-à-vis* с Ледой. И подумать только, что он мог, должен был написать эти биографии Великих! Что за труд, Генри! И вот из-за дурацкого устройства вашей библиотеки их нельзя прочесть".

"Я предпочитаю "Погоню за призраком", — сказала Анна. — Роман в шести томах — это, должно быть, успокаивает".

"Успокаивает, — повторил мистер Скоган. — Вы нашли верное слово. "В погоне за призраком" — книга серьезная, но несколько старомодная — картины из жизни духовных лиц пятидесятых годов; типы мелких землевладельцев, крестьяне, чтобы вызвать грусть или смех, и, в качестве фона, — неперенные спокойно-живописные красоты природы. Все очень хорошо и основательно, но немножко скучновато и похоже на пуддинг. Мне гораздо больше нравится мысль о "Трудах и путешествиях Томса". Эксцентричный мистер Томс из Томс Хилла. Старина Том Томс, как его называли друзья. Он провел десять лет на Тибете, налаживая производство чистого сливочного масла с применением европейской технологии и получил возможность отойти от дел в 36 лет с кругленьким состоянием. Остаток жизни он посвятил путешествиям и размышлениям; и вот результат". Мистер Скоган постучал по книжным макетам. "А теперь мы подошли к "Повестям Нокеспотча". Что за шедевр, и что за великий человек! Нокеспотч знал, как писать прозу. О, Дэнис, если бы вы только смогли прочесть Нокеспотча, вы бы не стали писать скучный роман о развитии характера молодого человека, вы не стали бы в бесконечных и изощренных подробностях описывать культурную жизнь Челси, Блумсбери и Хэмпстеда. Вы бы постарались написать книгу, которую можно читать.

Но увы! Из-за особого устройства библиотеки нашего хозяина вы никогда не прочтете Нокеспотча”.

”Никто не может сожалеть об этом более, чем я”, — сказал Дэнис.

”Именно Нокеспотч, — продолжал мистер Скоган, — великий Нокеспотч избавил нас от мрачной тирании реалистического романа. ”Моя жизнь, — сказал Нокеспотч, — не так длинна, чтобы я мог позволить себе тратить драгоценные часы на описание или чтение описаний буржуазных интересов”. И еще он сказал: ”Я устал смотреть на то, как человеческий разум вязнет в социальных проблемах; я предпочитаю писать в пустоте, где ему свободно и весело”.

”Простите, — сказал Гомбольд, — Нокеспотч бывал иногда немного неясен, не правда ли?”

”Да, был, — ответил мистер Скоган, но это делалось преднамеренно. Из-за этого его считали более глубоким, чем он был на самом деле. Но ведь темным и загадочным он был только в своих афоризмах. В ”Повестях” он всегда был ясен. О, эти ”Повести”, эти ”Повести”! Как мне рассказать о них. Сказочные персонажи мелькают на его страницах, как ярко наряженные акробаты на трапеции. Необычайные приключения и еще более необычайные рассуждения. Разум и чувства, освобожденные от всех бестолковых забот цивилизованной жизни, перескакаясь и возвращаясь, наступая, отступая и сталкиваясь, движутся в сложном и изысканном танце. Колоссальная эрудиция и колоссальная фантазия идут рука об руку. Все идеи настоящего и прошлого относительно всевозможных предметов выскакивают из ”Повестей”, мрачно улыбаются или гримасничают, насмехаясь над собой же и затем исчезают, уступая место чему-то новому. Словесная поверхность его писаний богата и фантастически разнообразна. Остроумие неисчерпаемо, и...”

”Но не дадите ли вы нам образец, — вмешался Дэнис, — конкретный пример?”

”Увы! — ответил мистер Скоган, — Великая книга Нокеспотча напоминает меч Эскалибура. Она останется, надежно завязнув в этой дверце, в ожидании писателя, обладающего достаточным гением, чтобы его вытащить. Я ведь даже не писатель, я недостаточно квалифицирован для того, чтобы взяться за эту задачу. Извлечение Нокеспотча из его деревянной тюрьмы я оставляю вам, дорогой Дэнис”.

”Спасибо”, — сказал Дэнис.

## Глава 15

”Во времена галантного Брантома, — говорил мистер Скоган, — каждую дебютантку французского двора приглашали обедать за стол короля, где ей подавали вино в красивой серебряной чаше итальянской работы. Это была не обычная чаша, этот кубок дебютанток, ибо внутри него был необыкновенно искусно и бесхитростно выгравирован ряд очень живых амурных сцен. С каждым глотком, сделанным девицей, эти гравюры обнажались все больше, а весь двор с интересом наблюдал за ней всякий раз, когда она опускала свой нос в чашу, чтобы заметить, краснеет ли она при виде того, что ей открывает убывающее вино. Если дебютантка краснела, то они смеялись над ней из-за ее невинности, если же нет, то смеялись тому, что она знает слишком много”.

”Вы предлагаете возродить этот обычай в Бэкингемском дворце?” — спросила Анна.

”Нет, — сказал мистер Скоган. — Я просто привел этот анекдот в качестве иллюстрации столь простодушно откровенных обычаев XVI столетия. Я мог бы привести и другие анекдоты, чтобы показать, что обычаи семнадцатого и восемнадцатого, пятнадцатого и четырнадцатого веков, да и любого другого века, начиная с вермен Хамурапи, были столь же простодушными и столь же откровенными. Единственным веком, обычаи которого не отмечены той же веселой откровенностью, был благословенной памяти девятнадцатый век. Он был поразительным исключением. И однако, с тем, что следует назвать преднамеренным пренебрежением к истории, он смотрел на свои чудовищно многозначительные умолчания как на нечто нормальное, естественное и правильное; откровенность пердыдущих пятнадцати или двадцати тысяч лет считалась ненормальной и порочной. Это было любопытное явление”.

”Я совершенно согласна”. Мэри задыхалась от возбуждения в своем усилии выразить то, что она хотела сказать. ”Хавелок Эллис говорит...”

Мистер Скоган, как полицейский, останавливающий поток машин, поднял руку. ”Да. Я знаю. И это приводит меня к другой проблеме: природа реакции”.

”Хавелок Эллис...”

”Реакция, когда она наступила — а мы можем приблизительно сказать, что она наступила незадолго до начала этого столетия — реакция выразилась в откровенности, но не в той откровенности, которая

царила в прошлые века. Мы возвратились, но не к веселому простодушию прошлого, а к научной откровенности. Все, что относится к Эросу, стало ужасно серьезным. Вдумчивые молодые люди выступали в печати, утверждая, что огнь не станет невозможно превратить в шутку что-либо, имеющее отношение к сексу. Профессора писали толстые книги, в которых секс был стерилизован и проанализирован. У серьезных молодых женщин, таких, как Мэри, вошло в привычку с философским спокойствием обсуждать такие вопросы, одного намека на которые было бы достаточно, чтобы ввергнуть в любовное исступление юношу шестидесятих годов. Несомненно, все это весьма ценно. Но все же, — мистер Скоган вздохнул, — что касается меня, то я хотел бы видеть, как к этому научному пылу примешивается немного больше жизнерадостного духа Рабле и Чосера”.

”Я с вами совершенно не согласна, — сказала Мэри. — Секс — это не шутка; это серьезно”.

”Возможно, — ответил мистер Скоган, — возможно я бесстыдный старик, потому что я должен признаться, что не могу всегда относиться к этому совершенно серьезно”.

”Но я говорю вам...”, — начала яростно Мэри. Ее лицо вспыхнуло от возбуждения. Ее щеки были щеками большого спелого персика.

”Да, да, — продолжал мистер Скоган, — мне кажется, что это один из немногих существующих предметов, постоянно и вечно забавных. Любовь — это единственный вид человеческой деятельности, имеющей какое-то значение, в котором смех и наслаждение преобладают, хотя бы немного, над страданием и болью”.

”Я совершенно не согласна”, — сказала Мэри. Наступило молчание.

Анна посмотрела на часы. ”Почти без четверти восемь, — сказала она. — Интересно, когда же явится Айвор”. Она поднялась со своего шезлонга и, облокотившись на балюстраду террасы, стала смотреть на долину и в сторону дальних холмов. Под ровным вечерним светом обнажилась структура местности. Глубокие тени, яркие контрастные огни придавали холмам новую значительность. Неровности поверхности, ранее незаметные, выделялись светом и тенью. И трава, и пшеница, и листва деревьев были очерчены замысловатыми тенями. Поверхность вещей чудесно преобразилась.

”Смотрите!” — внезапно сказала Анна и показала пальцем. На противоположной стороне долины по гребню холма быстро двигалось вдоль горизонта облако пыли, которое свет солнца зажег розовым золотом. ”Это Айвор. Видно по скорости”. Пыльное облако опустилось в долину и исчезло из вида. Рожок дал знать о своем приближении голосом морского льва. Минутой позже Айвор выскочил из-за угла дома. Его волосы развевались на ветру, который создавала его собственная скорость; увидев их, он рассмеялся.

”Анна, детка, — воскликнул он и обнял ее, обнял Мэри и едва не обнял мистера Скогана. — Ну, вот и я. Я ехал с невероятной скоростью”. У Айвора был богатый, но несколько странный словарь. ”Я не опоздал к ужину, а?” Он взобрался на балюстраду и уселся, болтая ногами. Одной рукой он обнял большой каменный цветочный горшок и с видом доверчивой любви прижался щекой к его твердым, мшистым бокам. У него были каштановые вьющиеся волосы и очень блестящие, светлые и удивительно голубые глаза. Он имел узкую голову, тонкое лицо, орлиный нос. В старости — хотя трудно было вообразить Айвора старым — он мог измениться и обрести мрачность Железного Герцога. Но теперь, в двадцать шесть лет, впечатление производила не форма его лица, а его выражение. Оно было чарующим и жизнерадостным, а его улыбка просто лучилась. Он все время двигался, быстро и не зная покоя, но с покоряющим изяществом. Казалось, неиссякаемый источник энергии питает его хрупкое и стройное тело.

”Нет, ты не опоздал”.

”Вы прибыли вовремя, чтобы ответить на вопрос, — сказал мистер Скоган. — Мы спорили о том, является любовь серьезным предметом или нет. Как вы думаете? Seriously ли это?”

”Seriously? — повторил Айвор. — Несомненно”.

”Что я говорила?” — торжествующе закричала Мэри.

”Но в каком смысле серьезно?” — спросил мистер Скоган.

”Я хочу сказать, как занятие. Можно заниматься этим беспрерывно, и все равно никогда не соскучишься”.

”Понимаю, — сказал мистер Скоган. — Превосходно”.

”Этим можно заниматься, — продолжал Айвор, — всегда и везде. Женщины всегда удивительно одинаковы. Формы немного меняются, вот и все. В Испании, — свободной рукой он описал несколько округлых очертаний — они с трудом протискиваются в дверь. В Англии, — он соединил кончики указательного и большого пальцев и, опустив руку, вытянул эту окружность в воображаемый цилиндр, — в Англии они жердеобразны. Но их чувства всегда одинаковы. По крайней мере, я всегда так считал”.

”Очень рад это слышать”, — сказал мистер Скоган.

## Глава 16

Дамы покинули комнату, и по кругу пошел портвейн. Мистер Скоган наполнил свой стакан, передал графин и, откинувшись на спинку стула, мгновенно молча смотрел по сторонам. Вокруг него лениво журчал разговор, но он не обращал внимания; он улыбался какой-то собственной шутке. Гомбольд заметил его улыбку.

”Что вас забавляет?” – спросил он.

”Я просто смотрел, как вы все сидите вокруг этого стола”, – сказал мистер Скоган.

”Разве мы выглядим такими смешными?”

”Совсем нет, – вежливо ответил мистер Скоган. – Меня просто развлекли мои собственные рассуждения”.

”О чем же?”

”Беспольнейшие и самые академичные рассуждения. Я смотрел на всех вас по очереди и пытался представить, на кого из первых шести Цезарей был бы похож каждый из вас, если бы вам представилась возможность вести себя, как Цезарь. Цезари – это один из моих пробных камней, – объяснил мистер Скоган. – Это типы, которые действуют, так сказать, в пустоте. Это человеческие существа, развившиеся до своих логических завершений. Отсюда их непревзойденная ценность в роли пробного камня, эталона. Когда я впервые встречаю кого-нибудь, я задаю себе такой вопрос: ”Если этого человека поместить в цезарскую среду, на кого из Цезарей он будет походить – на Юлия, Августа, Тиберия, Калигулу, Клавдия, Нерона? Я беру каждую черту характера, каждую умственную и эмоциональную склонность, каждую маленькую странность и увеличиваю их в тысячу раз. Полученное в результате изображение дает мне его цезареву формулу”.

”А на кого из цезарей похожи вы?”

”Потенциально – на всех, – ответил мистер Скоган, – на всех, вероятно, за исключением Клавдия, который был слишком уж туп, чтобы быть завершением чего-нибудь в моем характере. Семена отваги и всепобеждающей энергии Юлия, расчетливости Августа, чувственности и жестокости Тиберия, безрассудства Калигулы, артистического гения и чудовищного тщеславия Нерона – все это есть во мне. При определенных условиях из меня бы получилось нечто фантастическое. Но обстоятельства были против меня. Я родился и воспитывался в семье сельского священника и растратил юность, выполняя довольно много совершенно бесполезной, тяжелой работы за очень небольшую плату. А

в результате, достигнув средних лет, я остаюсь тем бедняком, каким вы меня видите. Но, может быть, это и к лучшему. Может быть к лучшему также и то, что Дэнису не позволили расцвести в маленького Нерона и что Айвор остается лишь потенциальным Калигулой. Да, несомненно, так лучше. Но как зрелище это было бы более забавным, если бы им удалось беспрепятственно развить свои возможности во всем их ужасе. Было бы приятно и интересно наблюдать, как их слабости, недостатки и мелкие пороки разбухают и распускаются в чудовищные и фантастические цветы жестокости и гордости, похоти, и скупости. Цезарская среда создает цезаря, как особая пища и маточная ячейка создают матку у пчел. Мы отличаемся от пчел лишь тем, что они, получив соответствующую пищу, во всех случаях, обязательно создадут матку. Относительно нас такой уверенности нет; один человек из десяти, помещенный в цезарскую среду, будет добрым, разумным либо великим. Остальные расцветут в Цезарей, а он нет. Семьдесят или восемьдесят лет назад, прочитав о подвигах Бурбонов в Южной Италии, простодушные люди в изумлении восклицали: "Подумать только, что такое может случиться в девятнадцатом веке!" А несколько лет назад мы тоже были удивлены, узнав, что в наш еще более изумительный двадцатый век с несчастными арапами Конго и Амазонки обращаются так же, как с английскими рабами во времена Стефана. Нынче нас уже не удивишь. Каратели разоряют Ирландию, поляки посягают на права жителей Силезии, зарвавшиеся фашисты убивают своих несчастных сограждан в Италии — мы относимся к этому как к должному. После войны мы уже ничему не удивляемся. Мы создали цезарскую среду, и возникло сонмище маленьких Цезарей. Иначе и быть не могло.

Мистер Скоган допил оставшийся портвейн и снова наполнил стакан.

"В эту самую минуту, — продолжал он, — в каждом уголке земли совершаются ужаснейшие преступления. Людей колот, рубят, потрошат и кромсают; их мертвые тела разлагаются, и их глаза гниют вместе со всем остальным. Вопли боли и страха с помощью колебаний передаются по воздуху со скоростью тысяча сто футов в секунду. Они распространяются в течение трех секунд, после чего становятся совершенно неслышными. Это печальные факты; но разве из-за них мы меньше наслаждаемся жизнью? Разумеется нет. Мы сочувствуем, это несомненно; в воображении мы представляем себе страдания наций и отдельных людей, и мы сожалеем о них. Но что такое сочувствие и воображение, в конце концов? Очень мало, если только человека, которому мы сочувствуем, случайно не связывают с нами какие-нибудь узы; но даже и тогда они не заходят слишком далеко. И это тоже хорошо; потому что, если бы человек обладал воображением, достаточно живым, и сочувствием, достаточно восприимчивым, чтобы

действительно понимать и ощущать страдания других людей, мы никогда не имели бы ни минуты душевного спокойствия. Порода людей, способная на подлинное сострадание, не могла бы узнать, что такое счастье. Но, как я уже говорил, к счастью, мы не являемся страдающей породой. В начале войны я часто думал, что действительно страдаю через посредство воображения и сочувствия вместе с теми, кто страдал физически. Но через месяц или два мне пришлось признать, что в действительности это не так. И в то же время я полагаю, что обладаю более живым воображением, чем большинство. В страданиях человек всегда одинок; печально, если страдальцами оказываемся мы сами, но это дает возможность наслаждаться всему остальному миру”.

Наступило молчание. Генри Уимбуш отодвинул свой стул.

”Мне кажется, что нам следует присоединиться к дамам”, — сказал он.

”Мне тоже”, — сказал Айвор, с готовностью вскакивая. Он повернулся к мистеру Скогану. ”К счастью, — сказал он, — мы можем разделять наши наслаждения. Мы не всегда обречены на одинокое счастье”.

## Глава 17

Айвор с громом опустил руки на клавиши на заключительном аккорде своей импровизации. В этой торжествующей гармонии был лишь намек на то, что большой палец левой руки задел "си" вместе с "до". Но общее впечатление от благородного шума проявилось достаточно ясно. Мелкие детали не имеют значения, если хорошо общее впечатление. Кроме того, в этом намеке на "си" было что-то решительно современное. Он повернулся кругом на своем стуле и отбросил назад волосы, закрывающие ему глаза.

"Вот так, — сказал он. — К сожалению, это все, что я могу для вас сделать".

Послышался ропот аплодисментов и похвал, а Мэри, не сводя своих больших фарфоровых глаз с исполнителя, громко выкрикнула: "Великолепно!" и судорожно втянула воздух, как будто она задыхалась.

Природа и удача соперничали между собой, осыпая Айвора Ломбарда всеми своими лучшими дарами. Он был богат и совершенно независим. У него была приятная внешность, он обладал непобедимым обаянием и имел больше любовных побед, чем мог хорошенько припомнить. Его достоинства были необычайны по своему количеству и разнообразию. У него был прекрасный не поставленный тенор; он мог с поразительным блеском, быстро и громко импровизировать на фортепьяно, был хорошим медиумом и телепатом-любителем и обладал солидными знаниями о потустороннем мире, полученными из первых рук. Он умел с необыкновенной быстротой писать стихи в рифму. У него был стремительный стиль рисования символических картин, и если рисунок был иногда и слабоват, то цвет был всегда пиротехническим. Айвор с успехом подвизался в любительских театрах и, при случае, становился вдохновенным поваром. Он напоминал Шекспира тем, что немного знал латынь и еще меньше греческий. Для такого ума, как у него, образование казалось излишним. Учение только загубило бы его природные способности.

"Пойдемте в сад, — предложил Айвор. — Сегодня чудесный вечер".

"Благодарю вас, — сказал мистер Скоган. — Что касается меня, то я предпочитаю эти еще более чудесные кресла". Его трубка принялась неторопливо сопеть всякий раз, когда он делал затяжку. Он был совершенно счастлив.

Генри Уимбуш был тоже счастлив. Мгновение он смотрел поверх своего пенсне в направлении Айвора и затем, ничего не сказав, вернулся к запачканным маленьким счетным книгам, относившимся к шестнадцатому веку, которые в настоящее время составляли его излюбленное чтение. О хозяйственных расходах сэра Фердинандо он знал больше, чем о своих собственных.

Отряд желавших гулять, собравшихся под знаменем Айвора, состоял из Анны, Мэри, Дэниса и, сверх ожидания, Дженни. Снаружи было тепло и темно; луны не было. Они гуляли вверх и вниз по террасе, и Айвор спел неаполитанскую песню "Stretti, stretti" — близко, близко — после чего следовало что-то о маленькой испанской девочке. Атмосфера начинала накаляться. Айвор обнял Анну за талию, уронил голову ей на плечо и в этом положении продолжал идти, не прекращая пения. Казалось, в мире не было ничего более удобного и естественного. Дэнис удивлялся, почему он никогда так не делал. Он ненавидел Айвора.

"Давайте спустимся к бассейну", — сказал Айвор. Он выпустил Анну из объятий и обернулся назад, чтобы погонять свое маленькое стадо. Они прошли вдоль боковой стены дома к началу тисовой аллеи, спускавшейся к нижнему саду. Дорога, между голой отвесной стеной дома и высокими тисами, была бездной непроницаемого мрака. Кое-где были ступеньки, которые вели вниз направо — просвет в живой изгороди из тисов. Дэнис, который шел во главе отряда, осторожно прокладывал путь наощупь; в таком мраке у человека появляется иррациональная боязнь зияющих пропастей, ужасных препятствий, выступающих острием. Вдруг он услышал позади резкое, испуганное "О!", затем последовал резкий, сухой удар, который мог быть только звуком пощечины. После этого раздался голос Дженни, произнесший: "Я возвращаюсь домой". Ее тон был решителен, и, еще произнося эти слова, она уже таяла во мраке. Инцидент, что бы он ни значил, был исчерпан. Дэнис возобновил свое продвижение вперед. Откуда-то сзади снова тихо запел Айвор:

Фелица долго торговалась,  
Она скупа была вконец,  
Она Сильвандра отказалась  
Поцеловать за сто овец!

Мелодия опускалась и снова поднималась с какой-то легкой томностью; казалось, что теплый мрак, окружавший их, пульсировал, как кровь.

Назавтра — новые игрушки:  
Торговля близится к концу —

”Здесь ступеньки!” — воскликнул Дэнис. Он провел своих спутников через опасное место, и спустя мгновение их ноги уже ступали по тисовой аллее. Здесь было светлее или, по крайней мере, значительно менее темно, так как тисовая аллея была шире, чем тропа, по которой они шли под сенью дома. Подняв головы, они могли видеть между высокими черными заборами полосу неба и несколько звезд.

Он получает от пастушки

продолжал Айвор и, неожиданно крикнув: ”Я бегу вниз!”, исчез, несясь на полной скорости вниз по невидимому холму и продолжая неровно петь на ходу:

Сто поцелуев за овцу.

Остальные последовали за ним. Дэнис плелся сзади, напрасно призывая всех к осторожности: спуск крутой и можно свернуть себе шею. Что случилось с этими людьми? — удивлялся он. Они сделались похожими на молодых котят, которым дали выпить кошачьей мяты. Он и сам чувствовал, как в нем играет какой-то котенок; но это было, как и все его эмоции, скорее теоретическим ощущением; он не горел желанием выразить это, изобразив котенка на практике.

”Осторожно!”, — закричал он еще раз, и едва эти слова успели слететь с его губ, как бух! — впереди послышался звук тяжелого падения, за которым последовало продолжительное ”ф-ф-ф-ф” втягиваемого от боли воздуха и потом очень искреннее ”О-о-ох!”. Дэнис был почти доволен; он их предупреждал, этих идиотов, но они и слышать не хотели. Он рысью поспешил вниз по склону, направляясь к незримому страдальцу.

Мэри сбежала по холму, как стремительный паровоз. Это было необыкновенно увлекательно, этот безрассудный бросок сквозь мрак; она чувствовала, что никогда не остановится. Но почва под ее ногами сделалась ровной, скорость незаметно уменьшилась, и вдруг она была схвачена протянутой рукой и резко остановилась.

”Ну, — сказал Айвор, и его объятие сделалось крепче, — теперь я тебя поймал, Анна”.

Она сделала усилие, чтобы освободиться. ”Это не Анна. Это Мэри”.

Айвор разразился взрывом веселого смеха. ”Так и есть! — воскликнул он. — Сегодня вечером я, кажется, то и дело попадаю впросак. Первый раз было с Дженни”. Он опять рассмеялся, и в его смехе было что-то настолько веселое, что Мэри не удержалась и тоже рассмеялась. Он не убирал руку, которой обнимал ее, и во всем этом было нечто забавное и естественное, так что Мэри больше не делала

попыток избавиться от нее. Прижавшись друг к другу, они шли по краю бассейна. Мэри была слишком короткой, чтобы ему было удобно положить ей голову на плечо. Он потерся щекой о густую, гладкую массу ее волос, ласкаемый и ласкающий. Немного погодя он опять зашел; ночь страстно задрожала, подчиняясь звуку голоса. Закончив, он поцеловал ее. Анна или Мэри — Мэри или Анна. Кажется, это не имеет большого значения, которая из двух. Разумеется, некоторые детали имели значение, но общее впечатление было то же; и, в конце концов, общее впечатление — вот что важно.

Дэнис спустился с холма.

”Что-нибудь случилось?” — воззвал он.

”Это ты, Дэнис? Я так больно ударила ногу и колено, и руку. Я вся разбита.”

”Бедная Анна, — сказал он. — Но ведь глупо было, — не удержался он, — в темноте бежать с холма”.

”Осел! — воскликнула она раздраженным тоном, в котором слышались слезы, — конечно глупо”.

Он сел на траву подле нее и почувствовал, что дышит слабой, восхитительной атмосферой запахов, которые всегда окружали ее.

”Зажги спичку, — скомандовала она. — Я хочу осмотреть мои раны”.

Он нащупал в карманах спичечную коробку. Огонь вспыхнул и затем сделался ровным. Образовалась сказочная маленькая вселенная, мир цвета и формы — лицо Анны, мерцающая оранжевость ее платья, ее белые, обнаженные руки, полоска зеленой травы — и кругом темнота, которая сделалась плотной и совершенно непроницаемой. Анна протянула ладони; от падения обе они были выпачканы зеленью и землей, а на левой были видны две или три красные ссадины.

”Могло быть хуже”, — сказала она. Но Дэнис был полон сострадания, и его чувство еще усилилось, когда, взглянув ей в лицо, он увидел, что на ее ресницах остались следы слез, невольных слез боли. Дэнис вытащил платок и принялся стирать грязь с пораненной руки. Спичка погасла; новую зажигать не стоило. Анна кротко и благодарно позволяла ухаживать за собой. ”Спасибо”, — сказала она, когда он закончил вытирать и перевязывать ей руку; и в ее голосе было что-то, заставившее его почувствовать, что она потеряла свое превосходство над ним, что она стала младше его, вдруг сделалась почти ребенком. Он чувствовал себя необыкновенно большим и надежным. Ощущение было настолько сильным, что он инстинктивно обнял ее одной рукой. Она придвинулась ближе, прижалась к нему, и так они сидели, молча. Затем они услышали внизу тихие, но удивительно ясно доносившиеся сквозь безмолвный мрак, звуки пения Айвора. Он продолжал свою наполовину неоконченную песню:

На третий день она забыла  
Свой практицизм, и наконец  
Сама Сильвандру предложила  
За поцелуй сто штук овец!

Наступила довольно продолжительная пауза. Казалось, время уходило на то, чтобы дать и получить часть этих ста поцелуев. Затем голос продолжил пение:

Потом, забыв про все на свете,  
Овец и пса дала б сама  
За поцелуй, что вдруг Лизетте  
Достался просто задарма!

Последний звук замер, и наступила полная тишина.

”Тебе лучше? — прошептал Дэнис. — Тебе так удобно?”

Она кивнула на оба вопроса.

”За поцелуй сто штук овец”. Овца, волосатая баранина — бее, бее, бее?... Или пастух? Да, теперь он себя решительно чувствовал пастухом. Он был руководителем, защитником. В нем поднялась волна храбрости, теплая, как вино. Он повернул голову и начал целовать ее в лицо, вначале довольно беспорядочно, потом более точно, в губы.

Анна отвернулась; он целовал ее в ухо, в гладкий затылок, открывшийся ему благодаря этому движению. ”Нет, — попросила она, — нет, Дэнис”.

”Почему нет?”

”Это испортит нашу дружбу, а нам было так хорошо”.

”Глупости!” — сказал Дэнис.

Она попыталась объяснить. ”Видишь ли, — сказала она, — это... у нас это не пойдет”. Это было правдой. Она как-то никогда не видела в Дэнисе мужчину, который может быть любовником, ей никогда и в голову не приходила мысль о возможности любовных отношений с ним. Он был так нелепо молод, так... так... она не могла отыскать прилагательное, но знала, что имеет в виду.

”Почему не пойдет? — спросил Дэнис. — И, кстати, это ужасное и неподходящее выражение”.

”Потому что не пойдет”.

”Но если я говорю, что пойдет”.

”Это ничего не меняет. Я говорю, что нет”.

”Я заставлю тебя сказать ”да”.

”Ладно, Дэнис. Но тебе придется сделать это в другой раз. Мне нужно идти в дом и опустить ногу в горячую воду. Она начинает опухать”.

С соображениями здоровья следовало считаться. Дэнис неохотно

поднялся и помог своей даме встать на ноги. Она сделала осторожный шаг. "О-ох!" Она остановилась и тяжело оперлась на его руку.

"Я понесу тебя", — предложил Дэнис. Он никогда не пробовал нести женщину, но в кино это всегда производило впечатление легкого подвига.

"Ты не сможешь", — сказала Анна.

"Еще как смогу. — Он почувствовал себя сильнее и надежнее, чем когда-либо. — Обними меня за шею", — приказал он. Когда она это сделала, он, согнувшись, ухватил ее ниже колен и поднял с земли. Господи, вот это тяжесть! Шатаясь, он сделал пять шагов вверх по холму, после чего едва не упал, и ему пришлось быстро опустить свою ношу или, вернее, уронить ее.

Анна тряслась от смеха. "Я говорила, что ты не сможешь, бедный Дэнис".

"Смогу, — неуверенно сказал Дэнис, — я попробую еще раз".

"С твоей стороны очень мило предлагать это, но я уж лучше пойду, спасибо". Она положила руку ему на плечо и, опершись на него, медленно заковыляла вверх по холму.

"Бедный Дэнис!" — повторила она и снова рассмеялась. Униженный, он молчал. Казалось невероятным, что всего две минуты назад он держал Анну в объятиях и целовал. Невероятно. Тогда она была беспомощной, как ребенок, теперь восстановила все свое превосходство и опять сделалась далеким существом, желанным и неприступным. Как он мог свалить такого дурака, предложив себя в носильщики! К дому он подошел в состоянии глубочайшей подавленности.

Он помог Анне подняться наверх, оставил ее на попечение горничной и снова спустился вниз в гостиную. Он был удивлен, увидев, что все они сидят точно там же, где он их оставил. Он почему-то ожидал, что все будет совершенно по-другому — казалось, прошла целая вечность с тех пор, как он ушел. Все молчат, все прокляты, подумал он, глядя на них. Трубка мистера Скогана продолжала сопеть; это был единственный звук. Мистер Уимбуш был все так же окружен в свои счетные книги. Он только что сделал открытие, которое заключалось в том, что сэр Фердинандо имел привычку в течение всего лета есть устрицы, невзирая на отсутствие оправдывающих Р. Гомбольд читал, надев роговые очки. Дженни что-то загадочно черкала в своем красном блокноте. Сидя в своем любимом кресле у камина, Присилла просматривала кипу рисунков. Она брала их один за другим и, откинув назад свою огромную оранжевую голову, долго и внимательно рассматривала в вытянутой руке сквозь полусомкнутые веки. На Присилле было бледное платье цвета морской волны, на склоне ее покрытого розовой пудрой декольте мерцали бриллианты. Под углом к ее лицу выступал необыкновенно длинный мундштук, а в высоко уложенную

прическу были тоже вставлены бриллианты, сверкавшие всякий раз, когда она двигалась. Это была кипа рисунков Айвора — зарисовки из Жизни Духов, сделанные во время экстатических путешествий в мире ином. На обратной стороне каждого листа имелись пояснительные надписи: "Портрет ангела, 15-е марта 20 г."; "Астральные существа за игрой, 3-е декабря 19 г."; "Группа душ при переходе в верхнюю сферу, 21-е мая 21 г.". Прежде, чем рассматривать рисунок, она переворачивала его и читала подпись на обратной стороне. Сколько она ни старалась — а она старалась изо всех сил — Присилла ни разу не имела видений, и ей не удавалось установить хоть какую-нибудь связь с Миром Духов. Приходилось удовлетворяться рассказами об успехах других.

"Куда вы девали остальных?" — спросила она, взглянув на Дэниса, когда он вошел в комнату.

Он объяснил: Анна легла в постель, Айвор и Мэри остались в саду. Он выбрал книгу и удобное кресло и попытался, насколько это ему позволяло его возбужденное состояние, успокоиться с помощью вечернего чтения. Свет от лампы был совершенно спокоен; все было неподвижно, если не считать Присиллы, переворачивавшей свои картинки. Все молчат, и все прокляты, повторил про себя Дэнис, все молчат, и все прокляты...

Айвор и Мэри появились лишь час спустя.

"Мы остались полюбоваться восходом луны", — сказал Айвор.

"Понимаете, она была на ущербе", — очень специально и научно пояснила Мэри.

"Там, в саду было так прекрасно. Деревья, аромат цветов, звезды... — Айвор взмахнул руками. — А когда взошла луна, это было уже слишком. Я не мог удержать слез". Он сел за фортепьяно и поднял крышку.

"Было множество метеоритов, — сказала Мэри, не обращая ни к кому в отдельности. — По-видимому, земля как раз вступает в летний метеоритный поток. В июле и августе..."

Но Айвор уже начал ударять по клавишам. Он играл сады, звезды, аромат цветов, восходящую луну. Он даже вставил соловья, которого там не было. Мэри смотрела и слушала, приоткрыв рот. Остальные продолжали свои занятия и, казалось, не были особенно потревожены. Как раз в этот июльский день ровно триста пятьдесят лет назад сэр Фердинандо съел семь дюжин устриц. Открытие этого факта доставило Генри Уимбушу особенное удовольствие. В нем было врожденное чувство почтения, заставлявшее его находить радость в праздновании памятных дат. Трехсотпятидесятилетняя годовщина семи дюжин устриц... Жаль, что он не знал до обеда; он бы заказал шампанское.

Отправляясь спать, Мэри нанесла визит. В комнате Анны не было света, но она еще не спала.

"Почему вы не сошли с нами в сад?" — спросила Мэри.

”Я упала и подвернула ногу. Дэнис помог мне добраться домой”.

Мэри была исполнена сочувствия. Внутренне она также почувствовала облегчение, узнав, что отсутствие Анны имеет столь простое объяснение. Там, в саду у нее было смутное подозрение — подозрение, которое она едва ли смогла бы выразить, но в том, как она неожиданно оказалась наедине с Айвором, было что-то слегка *louché*. Не то, чтобы она придавала этому значение, совсем нет. Но ей не нравилась мысль о том, что, может быть, она стала жертвой инсценировки.

”Надеюсь, завтра вам будет лучше”, — сказала он и пожалела Анну, которая все упустила: и сад, и звезды, и аромат цветов, и метеориты, в летний поток которых вступает земля, и восходящую луну с ее ущербленностью. И потом, у них был такой интересный разговор. О чем? Почти обо всем. Природа, искусство, наука, поэзия, звезды, спиритизм, отношения полов, музыка, религия. Она считает, что у Айвора интересный ум.

Молодые женщины нежно расстались.

## Глава 18

Ближайшая римско-католическая церковь находилась на расстоянии двадцати миль в гору. Педантичный в своих увлечениях, Айвор рано спустился к завтраку, а его машина стояла у дверей, готовая тронуться в путь без четверти десять. Это была изящная, дорогая на вид машина, покрытая совершенно лимонной желтой эмалью и обтянутая изумрудно-зеленой кожей. В ней было два сиденья — три, если втиснуться достаточно плотно, — и те, кто их занимал были закрыты от ветра, пыли и непогоды глазированным седаном, который изящным портшезом восемнадцатого столетия возвышался из середины кузова машины.

Мэри, которая никогда не присутствовала на римско-католической службе, решила, что это будет любопытно, и, когда машина выезжала со двора через большие ворота, она занимала свободное место в седане. Морским львом проревел клаксон, слабее, слабее, и они исчезли.

В приходской церкви Крома мистер Бодихэм читал проповедь на тему, взятую из третьей книги Царств, VI. 18: "На кедрях внутри храма были вырезаны распускающиеся цветы" — проповедь, имевшая чисто местный интерес. В течение последних двух лет проблема Памятника Войны в Кроме занимала умы всех, кто имел достаточно свободного времени, умственной энергии или интересовался политикой настолько, чтобы думать о подобных вещах. Генри Уимбуш горой стоял за библиотеку — библиотеку с местной литературой, укомплектованную книгами по истории графства, монографиями о местных древностях, диалектологическими словарями, справочниками по местной геологии и естественной истории. Ему было приятно думать о том, как фермеры, вдохновляемые подобным чтением, в воскресенье после обеда будут группами отправляться на поиски окаменелостей и кремниевых наконечников для стрел. Сами же фермеры предпочитали идею памятного водохранилища и водопровода. Но наиболее энергичная и красноречивая партия следовала за мистером Бодихэмом, требуя чего-то религиозного по своей сути — построить вторые кладбищенские ворота, например, вставить окно из цветного стекла, или установить мраморный монумент, или и то, и другое, и третье, если это окажется возможным. До сих пор, однако, ничего не было сделано отчасти из-за того, что мемориальный комитет ни разу не мог прийти к соглашению, отчасти по более веской причине, состоявшей в том, что

подписка дала слишком мало денег, чтобы выполнить хоть какой-нибудь из предложенных планов. Каждые три или четыре месяца мистер Бодихэм произносил проповедь, посвященную этому предмету. Последнюю он сказал в марте; теперь было самое время сделать пастве свежее напоминание.

“На кедрах внутри храма были вырезаны распускающиеся цветы”.

Мистер Бодихэм слегка коснулся храма Соломона. Отсюда он перешел к храмам и церквям вообще. Какова была особенность этих строений, посвященных Богу? Очевидно, факт их совершенной бесполезности с человеческой точки зрения. Это были дома, не имеющие практической ценности, с “вырезанными распускающимися цветами”. Соломон мог бы построить и библиотеку — в самом деле, что могло быть более по душе самому мудрому человеку в мире? Он мог бы вырыть резервуар — что могло быть полезнее в таком знойном городе, как Иерусалим? Он не сделал ни того, ни другого, он построил дом, весь покрытый цветами, бесполезный и не имеющий практической ценности. Почему? Потому что он посвящал это творение Богу. В Кроме было много разговоров о предполагаемом Памятнике Войны. По самой своей природе Памятник Войны — это творение, посвященное Богу. Это знак благодарности за то, что первая стадия последней мировой войны увенчалась торжеством правого дела; в то же время, это была осязаемо воплощенная мольба к Богу, чтобы он не надолго откладывал свой приход, ибо лишь он один может принести окончательный мир. Библиотека, резервуар? Презрительно и возмущенно мистер Бодихэм осудил эту идею. Указанные творения посвящались бы человеку, а не Богу. Как Памятник Войны они были совершенно непригодны. Предлагали кладбищенские ворота. Такое решение вполне отвечало сущности Памятника Войны: бесполезное творение, посвященное Богу и покрытое распускающимися цветами. Правда, один крытый вход уже существует. Но нет ничего легче, чем сделать второй вход в церковный двор; а второй вход потребует и вторых ворот. Поступили и другие предложения. Окна из цветного стекла, мраморный монумент. Оба они были превосходны, особенно последнее. Пришло время установить Памятник Войны. Скоро, может быть, будет уже слишком поздно. В любое время, как тать в ночи, может явиться Бог. Но перед ними возникли затруднения. У них недостаточно денег. Подписаться должны все соответственно своим средствам. От тех, кто потерял на войне родственников, можно было не без оснований ожидать, что они подпишутся на сумму, равную той, которую им пришлось бы уплатить в виде расходов на похороны, если бы этот родственник умер дома. Дальнейшее промедление опасно. Памятник Войны должен быть выстроен сейчас же. Он взывал к патриотизму и христианским чувствам всех своих слушателей.

Генри Уимбуш шел домой и думал о книгах, которые он подарит Мемориальной Библиотеке, если она когда-нибудь появится. Он пошел тропинкой через поля; это было приятнее, чем идти по дороге. У первого прохода собралась группа сельских подростков, неотесанных молодых парней, одетых в безобразные, плохо сшитые черные костюмы, которые в Англии любое воскресенье или праздник превращают в похороны. Они мрачно гоготали и курили сигареты. Парни расступились перед Генри Уимбушем, притрагиваясь к кепкам, когда он проходил мимо них. Он ответил на их приветствие; его котелок и лицо представляли одно целое в своей невозмутимой торжественности. Во времена сэра Фердинандо, подумал он, во времена его сына сэра Джулиуса эти молодые люди устраивали бы свои воскресные развлечения даже в Кроме, уединенном сельском Кроме. Была бы стрельба из лука, кегли, танцы — общественные развлечения, в которых они принимали бы участие как члены сознательной общины. Теперь у них не было ничего, ничего, кроме клуба мальчиков мистера Бодихэма, где все запрещалось, и изредка танцев и концертов, которые устраивал он. Скука или городские развлечения в столице графства — такой выбор предоставлялся этим бедным юношам. Деревенских развлечений больше не существовало; их уничтожили пуритане.

Он припомнил, что в "Дневнике Маннингэма" за 1600 год есть странное место, очень странное место. Некие члены городского магистрата в Беркшире, пуритане, прослышали о соблазне. Одной лунной летней ночью они выехали верхом в сопровождении отряда полиции и там, среди холмов, наткнулись на группу совершенно голых мужчин и женщин, которые танцевали между загонами для овец. Члены магистрата и их люди направили лошадей на толпу. Как неловко должны были сразу же почувствовать себя эти бедняги, как беспомощно: без одежды против вооруженных и обутых всадников! Танцоров арестовали, высекли, отправили в тюрьму, посадили в колодки; с тех пор лунный танец никогда больше не танцевали. Какой древний, плотский, дионисийский ритуал нашел здесь свой конец? — думал он. Кто знает, возможно, их предки точно так же танцевали, при луне в течение столетий, когда об Адаме и Еве еще и слышно не было. Ему нравилось так думать. А теперь уже этого нет. Эти усталые молодые люди, если хотели танцевать, должны были отправляться на велосипеде за 6 миль в город. Село было заброшенным, лишенным собственной жизни, лишенным местных развлечений. Благочестивые члены магистрата навсегда погасили веселый огонек, горевший испокон века.

И над могилой Туллии сияет бессменный свет,  
Той лампы, что не угасла за две тысячи лет...

Он повторял про себя эти строки и печально думал обо всем, что было загублено в прошлом.

## Глава 19

Длинная сигара Генри Уимбуша аромтно дымилась. У него на коленях лежала "История Крома"; он медленно переворачивал страницы.

"Не могу решить, какой отрывок я прочту вам сегодня, — задумчиво сказал он. — Путешествия сэра Фердинандо не лишены интереса. Кроме того, разумеется, есть еще его сын, сэр Джулиус. Это он страдал от мании, что в его поту зарождаются мухи; в конце концов это довело его до самоубийства. Или сэр Сайприон. Он стал листать быстрее. Или сэр Генри. Или сэр Джордж... Нет, пожалуй, я не буду читать ни о ком из них".

"Но вы должны что-нибудь прочесть", — потребовал мистер Скоган, вынимая трубку из рта.

"Пожалуй, я прочту вам о моем дедушке, — сказал Генри Уимбуш, — и о событиях, которые привели его к женитьбе на сташей дочери последнего сэра Фердинандо".

"Хорошо, — сказал мистер Скоган. — Мы слушаем".

"Прежде, чем я начну читать, — сказал Генри Уимбуш, поднимая глаза от книги и снимая пенсне, которое он только что одел на нос, — прежде, чем я начну, я должен предварительно сказать несколько слов о сэре Фердинандо, последнем из Лэписов. После смерти мужественного и несчастного сэра Геркулеса Фердинандо сделался владельцем наследственного состояния, которое значительно возросло благодаря умеренности и бережливости его отца; он тотчас же поставил перед собой задачу промотать его, что он и делал в широкой и веселой манере. К тому времени, когда ему исполнилось сорок лет, он проел и, главное, пропил и пролюбил почти половину своего состояния и неминуемо вскоре таким же образом избавился бы и от остального, если бы не влюбился в дочь приходского священника столь безумно, что сделал ей предложение выйти за него замуж. Девушка дала согласие и менее чем через год сделалась полновластной хозяйкой Крома и своего мужа. В характере сэра Фердинандо произошла разительная перемена. В своих привычках он стал аккуратным и экономным; он даже сделался воздержанным и редко выпивал более полутора бутылок портвейна в один присест. Таявшее состояние Лэписов снова начало расти, и это несмотря на тяжелые времена (ибо сэр Фердинандо женился в 1809 году, в разгар наполеоновских войн). Процветающая и достойная старость, которая радуется картине расцвета и счастья своих детей — ибо леди Лэпис уже родила ему трех дочерей, и не было причин сомневаться в том, что она

родит еще множество дочерей, а также и сыновей — и достойный переход в фамильный склеп — казалось, сэру Фердинандо был теперь уготован этот завидный удел. Но провидению было угодно распорядиться иначе. Это Наполеон, который уже был причиной столь ужасных злодеяний, вызвал, хотя и косвенно, безвременную и насильственную смерть, положившую предел существованию этого раскаявшегося человека.

Сэр Фердинандо, который был большим патриотом, с самых первых дней столкновения с Францией избрал свой собственный особенный метод праздновать наши победы. Когда счастливая весть достигала Лондона, он обычно сразу же покупал большой запас спиртного и, заняв место в первой попавшейся отбывающей почтовой карете, пересекал страну, объявляя добрую весть всем, кого он встречал на пути, и на каждой остановке распространял ее, вместе со спиртным, среди тех, кто имел желание слушать или пить. Так, после Нила он доехал до самого Эдинбурга; и позже, когда почтовые кареты, увитые лавром в знак торжества и кипарисом в знак траура, отправлялись с известием о победе и смерти Нельсона, он просидел целую холодную октябрьскую ночь на козлах норвичского Метеора с морским бочонком рома на коленях и двумя ящиками старого брэнди под сиденьем. Этот добрый обычай был одной из многих привычек, от которых он отказался после женитьбы. Победы на Пиренеях, отступление из Москвы, Лейпциг и отречение тирана — все осталось неотпразднованным. Но случилось так, что летом 1815 года сэр Фердинандо в течение нескольких недель находился в столице. Это был ряд беспокойных, ненадежных дней; затем пришла славная весть о Ватерлоо. И сэр Фердинандо не выдержал; в нем снова проснулась его веселая юность. Он поспешил к своему виноторговцу и купил дюжину бутылок брэнди разлива 1760 года. Батская почтовая карета уже отправлялась, он купил себе право ехать на козлах и, сидя на почетном месте рядом с кучером, громко провозглашал падение корсиканского бандита и передавал по кругу согревающую жидкую радость. Они проскакали через Аксбридж, Слаф, Мэйденхед. Спящий Рэдинг был разбужен великой вестью. В Дидкоте одним из конюхов так сильно овладели патриотические чувства и брэнди 1760 года, что он оказался не в состоянии затянуть хомут. Ночь становилась холоднее, и сэр Фердинандо почувствовал, что хлебнуть глоток на каждой остановке для него недостаточно. Чтобы поддерживать в себе жизненную теплоту, он был вынужден пить также и между остановками. Они подъезжали к Суиндону. Карета ехала с головокружительной скоростью — шесть миль — за последние полчаса — когда, не обнаруживший перед этим ни малейшего признака неустойчивости, сэр Фердинандо неожиданно качнулся в сторону со своего сиденья и упал на дорогу вниз головой. Дремавших пассажиров разбудил неприятный толчок. Карета остановилась. Кучер с огнем побежал назад. Он нашел сэра Фердинандо еще живым, но без сознания; из его рта медленно текла

кровь. Его переехали задние колеса кареты, и большая часть ребер и обе руки у него были сломаны, а в черепе были трещины в двух местах. Его взяли в карету, но он был мертв прежде, чем они добрались до следующей станции. Так скончался сэр Фердинандо — жертва собственного патриотизма. Леди Лэпис более замуж не выходила, решив посвятить остаток жизни благополучию своих трех детей — Джорджианы, которой в это время исполнилось пять лет, и двухлетних близнецов Эммеины и Каролины”.

Генри Уимбуш умолк и снова одел пенсне. ”На этом вступление заканчивается, — сказал он. — Теперь я могу начать читать о моем дедушке”.

”Одну минутку, — сказал мистер Скоган, — сейчас я набью трубку”.

Мистер Уимбуш подождал. Сидя в углу комнаты отдельно от остальных, Айвор показывал Мэри свои рисунки из Жизни Духов. Они переговаривались шепотом.

Мистер Скоган опять зажег трубку. ”Приступайте”, — сказал он.

Генри Уимбуш приступил.

”Была весна 1833 года, когда мой дед Джордж Уимбуш был впервые представлен ”трем прелестным Лэпис”, как их всегда называли. В то время он был молодым человеком двадцати двух лет с кудрявыми желтыми волосами и привлекательным румяным лицом, которое было отражением его юной и невинной души. Он учился в Харроу и Крайст Черче, любил охоту и другие развлечения на открытом воздухе, и хотя его обстоятельства сложились необычайно счастливо, его удовольствия были умеренны и невинны. Его отец, ост-индский купец, прочил ему политическую карьеру и изрядно потратился, чтобы приобрести для своего сына миленькое гнилое местечко в Корнуэльсе как подарок ко дню рождения, когда тому исполнился 21 год. Он был справедливо разгневан, когда в 1832 году билль о Реформе уничтожил это гнилое местечко как раз накануне совершеннолетия Джорджа. Джорджу пришлось отложить свое вступление в политическую карьеру. К тому времени, когда он познакомился с прелестными Лэпис, он находился в ожидании; он был не очень-то терпелив.

Прелестные Лэпис не преминули произвести на него впечатление. Джорджиана, старшая, с ее черными локонами, сверкающими глазами, благородным орлиным профилем, лебединой шеей и покатыми плечами была ослепительна на восточный манер; а близнецы, с их чуть-чуть курносими носами, голубыми глазами и каштановыми волосами были парой одинаково восхитительных английских чаровниц.

Однако, при этой первой встрече их речи оказались столь сдержанными, что, если бы не непобедимое очарование их красоты, Джордж никогда не набрался бы храбрости продолжить знакомство. Близнецы задирали нос и с видом тонкого превосходства спрашивали,

что он думает о новейшей французской поэзии и нравится ли ему "Индиана" Жорж Санд. Но, кажется, хуже всего был вопрос, которым начала свою беседу с ним Джорджиана. "В музыке, — спросила она, остановив на нем свои большие черные глаза, — вы классик или трансценденталист?" Джордж не растерялся. Он достаточно разбирался в музыке, чтобы знать, что он ненавидит все, что имеет отношение к классике, и поэтому с быстротой, которая делала ему честь, ответил: "Я тансенденталист". Джорджиана очаровательно улыбнулась. "Очень рада, — сказала она, — я тоже. Вы, конечно, ездили слушать Паганини на прошлой неделе. "Молитва Моисея" — Ах! — Она закрыла глаза. — Знаете ли вы хоть что-нибудь более трансцендентальное?" "Нет, — сказал Джордж, — не знаю". Он заколебался, хотел было продолжить разговор, но затем решил, что, в общем, будет разумнее не говорить — и он поступил совершенно правильно, — что больше всего у Паганини ему понравились "Сельские имитации". Этот человек заставил свою скрипку реветь, как осел, кудахтать, как курица, хрюкать, визжать, лаять, ржать, кричать, мычать и рычать. Этот номер вознаграждал за скуку остальной части концерта. Он улыбался, с удовольствием вспоминая об этом. Да, он решительно не был классиком в музыке; он был законченным трансценденталистом.

"Джордж закрепил это первое знакомство, нанеся визит девушкам и их матери, которые весь сезон жили в небольшом, но изящном домике неподалеку от Беркли Сквер. Леди Лэпис, осторожно навела некоторые справки и, обнаружив, что финансовое положение, репутация и семья Джорджа были, в общем, удовлетворительны, пригласила его обедать. Она надеялась и ожидала, что все ее дочери выйдут замуж за пэров; но, будучи благоразумной женщиной, она знала, что не мешает подготовиться ко всяким случайностям. Джорджа Уимбуша, думала она, очень хорошо иметь про запас для одной из близнецов.

"В этот первый обед Джордж сидел рядом с Эммелиной. Они говорили о Природе. Эммелина уверяла, что высокие горы ее волнуют, а шум городских толп несет ей страдание. Джордж признал, что в деревне очень приятно, но полагал, что и Лондон во время сезона имеет свою прелесть. С удивлением и некоторым состраданием он заметил, что у мисс Эммелины плохой аппетит, что, в сущности, его совсем нет. Две ложки супа, кусочек рыбы, ни птицы, ни мяса и три виноградинки — это был весь ее обед. Время от времени он поглядывал на двух ее сестер; казалось, Джорджиана и Каролина были столь же воздержаны. Что бы им ни подносили, они отклоняли движением руки с выражением легкого отвращения, закрывая глаза и отворачиваясь от предлагаемого блюда, как будто морской язык в лимонах, утка, телячье филе, бисквиты с вином и сливками были предметами, которые оскорбляют зрение и обоняние. Джордж, считавший обед превосходным, решился заговорить об отсутствии аппетита у сестер.

”Прошу вас, не говорите со мной о еде, — сказала Эммелина, поникнув, как нежное растение. — Мы с сестрами считаем, что это так грубо, так материально. Когда ешь, не можешь думать о душе”.

Джордж согласился: не можешь. ”Но ведь нужно жить”, — сказал он.

”Увы! — вздохнула Эммелина. — Нужно. Смерть прекрасна, вы не находите?” Она отломил кусочек поджаренного хлеба и начала его неохотно грызть. ”Но раз уж, как вы говорите, нужно жить... — Она сделала короткий жест, выражавший покорность. — К счастью, для поддержания жизни нужно очень немного”. Она положила свою краюшку поджаренного хлеба, наполовину не доев.

Джордж смотрел на нее с некоторым удивлением. Она бледна, но выглядит удивительно здоровой, думал он, так же, как и ее сестры. Может быть, если действительно живешь духовной жизнью, меньше нуждаешься в пище. Было ясно, что он не жил духовной жизнью.

После этого он часто виделся с ними. Он понравился им всем, начиная от леди Лэпис. Правда, он был не очень романтичен или поэтичен; но это был такой приятный, скромный, мягкосердечный молодой человек, что его нельзя было не полюбить. Со своей стороны, он считал, что они чудесны, чудесны, особенно Джорджиана. Он окружил их всех теплым покровительственным обожанием. Ведь они нуждались в покровительстве; они были вообще слишком хрупкими, слишком духовными для этого мира. Они ничего не ели, всегда были бледными, часто жаловались, что их лихорадит, они много и с любовью говорили о смерти и часто падали в обморок. Джорджиана была самой неземной из всех; из них троих она ела меньше всех, падала в обморок чаще всех, больше всех говорила о смерти и была самой бледной — ее бледность была такой поразительной, что выглядела положительно искусственной. Казалось, что в любое мгновение она может оставить то немногое, что ее еще удерживает в этом материальном мире, и вся превратится в дух. Эта мысль была для Джорджа непрерывным мучением. Если она умрет...

”Она ухитрилась, однако, прожить весь сезон, и это несмотря на бесконечные балы, рауты и другие развлечения, которых она никогда не пропускала, так же, как и остальные члены прелестного трио. В середине июля вся семья переехала в деревню. Джорджа пригласили провести в Кроме август.

”В доме собралось изысканное общество; список гостей украшали имена двух титулованных молодых людей, достигших брачного возраста. Джордж надеялся, что деревенский воздух, покой и окружающая природа смогут вернуть трем сестрам их аппетит и румянец их щекам. Он ошибся. За обедом в первый же вечер Джорджиана съела только одну маслину, две или три соленые миндалины и

полперсика. Она была такой же бледной, как всегда. Во время еды она говорила о любви.

”Истинная любовь, — говорила она, — бесконечная и вечная, может достичь совершенства лишь в вечности. Индиана и сэр Родольф отпраздновали мистическую свадьбу своих душ, прыгнув в Ниагару. Любовь несовместима с жизнью. Два человека, истинно влюбленных друг в друга, хотят не жить вместе, но умереть вместе”.

”Ну, ну, дорогая, — сказала леди Лэпис, дородная и практичная. — Что бы стало с будущим поколением, скажи-ка, если бы весь мир жил по твоим принципам?”

”Мама!..” — воскликнула Джорджиана и опустила глаза.

”В дни моей молодости, — продолжала леди Лэпис, — меня бы просто высмеяли, если бы я сказала что-нибудь подобное. Но тогда, в дни моей молодости, души еще не были в моде, как сейчас, и мы не находили никакой поэзии в смерти. Это было просто неприятно.”

”Мама!...” — взмолились Эммелина и Каролина в один голос.

”В дни моей молодости, — леди Лэпис увлеклась своей темой; казалось, ничто теперь не в силах ее остановить. — В дни моей молодости, когда человек не ел, говорили, что ему нужно принять ревеню. Теперь же...”

Послышался вскрик; Джорджиана упала в обморок в сторону, на плечо лорду Тимпани. Это было отчаянное средство, но оно принесло успех. Леди Лэпис была остановлена.

Дни проходили среди безмятежных удовольствий. Из всего собравшегося веселого общества единственным несчастным был Джордж. Лорд Тимпани ухаживал за Джорджианой, и было ясно, что его принимают благосклонно. Джордж все видел, и его жизнь превратилась в ад ревности и отчаяния. Общество шумливых молодых людей сделалось ему нестерпимым; он избегал их, стремясь к мраку и уединению. Однажды утром, ускользнув от них под каким-то неясным предлогом, он возвратился в дом один. Молодые люди купались в озере внизу; их крики и смех доносились до него, и спокойный дом казался еще более покинутым и молчаливым. Прелестные сестры и их матушка все еще находились в своих комнатах; обычно до завтрака они не появлялись, так что по утрам мужчины были предоставлены самим себе. Джордж сел в зале и отдался своим мыслям.

Каждую минуту она может умереть; каждую минуту она может стать леди Тимпани. Это было ужасно, ужасно. Если она умрет, он тоже умрет; он пойдет искать ее за гробом. Если она станет леди Тимпани, тогда... О! Решить эту задачу будет не так-то просто. Если она станет леди Тимпани — это была ужасная мысль. Но, может быть, она влюблена в Тимпани — хотя кажется невероятным, чтобы кто-нибудь мог влюбиться в Тимпани, может быть, ее жизнь зависит от Тимпани, может быть, она не может жить без него? Он наощупь пробирался в

этом запутанном лабиринте предположений, когда часы пробили двенадцать. При последнем ударе, подобно автомату, приведенному в движение поворотом часового механизма, из двери, которая соединяла кухонную часть дома с залом, внезапно появилась маленькая служанка, державшая в руках большой накрытый поднос. Джордж с рассеянным любопытством наблюдал за ней (сам, повидимому, оставаясь незамеченным). Она просеменила через комнату и остановилась перед тем, что казалось простым продолжением панельной обшивки. Она протянула руку, и, к величайшему изумлению Джорджа, распахнулась дверца, через которую было видно начало винтовой лестницы. Повернувшись боком, чтобы пронести поднос через узкую дверь, служаночка, пятясь, быстрым крабьим движением втиснулась внутрь. Дверь за ней закрылась и щелкнула. Минутой позже она снова открылась, и служанка, уже без подноса, торопливо прошла назад и исчезла в направлении кухни. Джордж попытался вернуться к своим мыслям, но какое-то неудержимое любопытство направляло его ум к потайной двери, лестнице, маленькой служанке. Напрасно он говорил себе, что это не его дело, что попытка раскрыть секрет этой удивительной двери и таинственной лестницы за ней будет непростительным нахальством и нескромностью. Все было напрасно; в течение пяти минут он героически боролся со своим любопытством, но по прошествии этого срока он обнаружил, что стоит перед невинной полосой панельной обшивки, через которую исчезла служаночка. Достаточно было одного взгляда, чтобы определить положение потайной двери — потайной лишь для тех, кто смотрел невнимательно. Это была самая обыкновенная дверь, находившаяся на одном уровне с панельной обшивкой. Ни задвижка, ни ручка не выдавали ее положения, но скромная щеколда, спрятанная глубоко в дереве, говорила, что ее нужно нажать. Джордж удивился, как это он не заметил ее раньше; теперь, после того, как он ее увидел, она просто бросалась в глаза, почти так же, как дверца шкафа с ее линиями поддельных книжных полок и книжных макетов. Он потянул дверь и заглянул внутрь. Лестница, ступеньки которой были сделаны не из камня, а из старого дуба, вилась вверх и исчезала из вида. Окно, похожее на щель, пропускало дневной свет; он находился в основании центральной башни, а маленькое окно выходило на террасу; внизу, в озере все еще продолжали кричать и плескаться.

Джордж закрыл дверь и вернулся на свое место. Однако, его любопытство не было удовлетворено. Более того, это частичное удовлетворение только раздражило его аппетит. Куда ведет лестница? Куда направлялась маленькая служанка? Это не его дело, повторял он, не его дело. Он попытался читать, но его мысли блуждали. В четверть первого мелодично прозвучали часы. Внезапно решившись, Джордж поднялся, пересек комнату, отворил спрятанную дверь и стал подниматься по лестнице. На мгновение он остановился, чтобы прислушаться; его сердце

неприятно билось, как будто он бросал вызов какой-то неведомой опасности. Так порядочные люди не поступают, говорил он себе, это ужасная невоспитанность. На цыпочках он продвигался вперед и вверх. Еще один виток, затем полвитка, и вот он очутился около двери. Он остановился перед ней, прислушался; нельзя было услышать ни звука. Прижав глаз к замочной скважине, он не увидел ничего, кроме полосы белой, залитой солнцем стены. Приободрившись, он повернул ручку и ступил через порог. Здесь он остановился в безмолвном изумлении, окаменев при виде открывшейся перед ним картины.

”Посредине маленькой комнаты, приятно освещенной солнцем — теперь там находится будуар Присиллы, — заметил мистер Уимбуш мимоходом, — стоял круглый столик орехового дерева. Хрусталь, фарфор и серебро — все сверкающие атрибуты изящной трапезы — отражались в его блестящих глубинах. Холодный цыпленок, ваза с фруктами, большой окорок, разрезанный глубоко до нежнейшей белой и розовой середины, коричневое ядро холодного пудинга с изюмом, стройная бутылка рейнвейна и графин кларета соперничали друг с другом из-за места на этом праздничном столе. И за столом сидели три сестры, три прелестные Лэпис — и ели!

”При неожиданном появлении Джорджа все они посмотрели в сторону двери и теперь сидели, скованные тем же изумлением, которое заставило Джорджа неподвижно стоять с широко раскрытыми глазами. Джорджиана, сидевшая прямо напротив двери, вперила в него свои черные огромные глаза. Большим и указательным пальцами правой руки она держала цыплячью ножку; ее мизинец, изящно отогнутый, был отставлен отдельно от остальных пальцев. Ее рот был открыт, но цыплячья ножка так и не добралась до своей цели; она замерла, застыла на полпути. Обе ее сестры обернулись, чтобы взглянуть на незваного гостя. Каролина все еще сжимала вилку и нож; пальцы Эмmeliны обвивались вокруг стакана с кларетом. В течение очень долгого, как им казалось, времени они молча смотрели друг на друга. Это была скульптурная группа. Затем внезапно началось движение. Джорджиана уронила цыплячью косточку, нож и вилка Каролины со стуком упали на тарелку. Движение распространялось, становилось более решительным; Эмmeliна, вскрикнув, вскочила на ноги. Волна паники достигла Джорджа; он повернулся и, бормоча по пути что-то невнятное, бросился вон из комнаты и дальше, вниз по винтовой лестнице. В зале он остановился, и здесь, один в тиши дома, он начал смеяться.

”За завтраком заметили, что сестры едят немножко больше, чем обычно. Джорджиана поковырялась в фасоли и съела целую ложку телячьего студня. ”Сегодня я себя чувствую немножко лучше, — сказала она лорду Тимпани, когда он поздравил ее с появлением аппетита. — Немножко более материальной”, — добавила она с нервным смехом. Подняв глаза, она встретила взглядом со взглядом Джорджа;

ее щеки покрылись румянцем, и она поспешно отвернулась.

В тот же день после полудня они на мгновение оказались наедине в саду.

”Вы никому не расскажете, Джордж? Обещайте, что вы никому не расскажете, — взмолилась она. — Мы будем выглядеть такими смешными. И кроме того, есть — это ведь материально, не правда ли? Скажите, что вы никому не расскажете”.

”Расскажу, — грубо сказал Джордж. — Я расскажу всем, если только...”

”Это шантаж”.

”Неважно, — сказал Джордж. — Я даю вам двадцать четыре часа на размышление”.

”Конечно, леди Лэпис была разочарована; она рассчитывала на большее — на Тимпани и пэрскую корону. Но, в общем, и Джордж был не так уж плох. Они поженились к Новому Году.

”Бедный дедушка! — прибавил мистер Уимбуш, закрыв книгу и убрав пенсне. — Когда я читаю в газетах об угнетенных народностях, я думаю о нем”. Он зажег потухшую сигару. ”Это было матриархальное правление, сильно централизованное и лишенное представительных институтов”.

Генри Уимбуш умолк. В наступившей тишине снова стали слышны объяснения, которые Айвор шепотом давал к своим рисункам из жизни духов. Дремавшая до того Присилла внезапно проснулась.

”Что? — спросила она испуганным голосом человека, только что пришедшего в сознание, — что?”

Дженни уловила эти слова. Она подняла голову, улыбнулась и успокаивающе кивнула. ”Это про ветчину”, — сказала она.

”Что про ветчину?”

”То, что сейчас читал Генри”. Она закрыла красный блокнот, лежавший у нее на коленях, и одела на него резиновую ленту. ”Я иду спать”, — объявила она и встала.

”И я”, — сказала Анна, зевая, но у нее не хватило сил подняться с кресла.

Ночь была жаркой и душной. Занавески неподвижно висели по бокам открытых окон. Обмахиваясь портретом Астрального Существа, Айвор высунулся во мрак и вдохнул воздух.

”Воздух, как вата”, — объявил он.

”После полуночи будет прохладнее, — сказал Генри Уимбуш и осторожно добавил, — вероятно.”

”Я знаю, что не смогу спать”.

Присилла повернула голову в его направлении; монументальная прическа сильно качалась при малейшем ее движении. ”Вы должны сделать усилие, — сказала она. — Когда я не могу спать, я концентрирую свою волю — я говорю: ”Я буду спать, я уже сплю”.

И готово! Я уже сплю. Такова сила мысли”.

”Но действует ли она в душные ночи? — поинтересовался Айвор. — Я просто не могу спать в душную ночь”.

”Я тоже, — сказала Мэри, — разве что на свежем воздухе”.

”На свежем воздухе! Чудесная мысль!”

В конце концов они решили спать на башнях — Мэри на западной башне, Айвор на восточной. Свинцовые крыши обеих башен имели плоские участки, а матрасы можно было просунуть через люки, которые туда выходили. Под звездами, под ущербной луной они несомненно будут спать. Матрасы были втащены, простыни и одеяла расстелены, и через час оба страдающих бессоницей, каждый с собственной башни, прокричали свое ”спокойной ночи” через разделявшую их пропасть.

На Мэри усыпляющее свойство свежего воздуха не оказало ожидаемого волшебного действия. Даже через матрас она не переставала ощущать, что свинцовые плиты очень твердые. Кроме того, слышались звуки: все время пронзительно кричали совы, и один раз, испуганные неизвестно чем, все гуси на дворе фермы разразились неистовым гогогом. Звезды и ущербная луна требовали внимания, и, когда через все небо пронесся метеорит, оставалось только лежать с открытыми глазами и настороженно ждать следующего. Время шло; луна взбиралась все выше и выше по небу. Мэри хотелось спать меньше, чем когда она только что вышла. Она села и выглянула через парапет. Смог ли уснуть Айвор? — подумала она. И, как бы в ответ на ее мысленный вопрос, из-за трубы, находившейся в дальнем конце крыши, бесшумно показалась белая фигура, в которой при лунном свете можно было узнать Айвора. Расставив руки вправо и влево на манер канатходца, он двинулся вперед по коньку крыши. По мере приближения он страшно раскачивался. Мэри безмолвно наблюдала: наверное он идет во сне! Что, если он вдруг проснется, вот сейчас! Стоит ей заговорить или пошевелиться, и это может повлечь его смерть. Она больше не осмеливалась смотреть и опустила на подушки. Мэри внимательно прислушалась. В течение, как ей показалось, долгого времени не было слышно ни звука. Потом раздался стук шагов по черепице, после чего слышался шум карабканья и произнесенное шепотом ”Черт!” И внезапно голова и плечи Айвора показались над парапетом. Последовала одна нога, за ней другая. Он был на крыше. Мэри сделала вид, что она внезапно проснулась.

”Ах! — сказала она. — Что вы здесь делаете?”

”Я не мог спать, — объяснил он, — вот я и пришел посмотреть, может быть вы тоже не спите. Одному на башне скучно. Вы не находите?”

Светать начало до пяти. На востоке громоздились длинные узкие облака, их края горели оранжевым огнем. Небо было бледным и предвещало дождь. С мрачным криком погибшей души огромный павлин, тяжело подлетев снизу, опустился на парапет башни. Айвор и Мэри,

вздрыгнув, сразу проснулись.

”Держи его! — кричал Айвор, вскакивая. — Мы добудем перо”. Испуганный павлин в бессмысленном волнении бегал туда и сюда по парпету, кланялся, подпрыгивал и кудахтали; его длинный хвост тяжело свисал то впереди, то сзади, когда он убегал и снова возвращался. Потом с хлопанием и свистом он бросился в воздух, величественно направляясь к земле с возвращенным чувством собственного достоинства. Но он оставил трофей. Айвор добыл свое перо, глаз с длинными ресницами, фиолетовый и зеленый, голубой и золотой. Он вручил его своей даме.

”Перо ангела”, — сказал он.

Мгновение Мэри смотрела на него серьезно и внимательно. Фиолетовая пижама была ей велика и скрывала линии ее тела; она была похожа на какую-то большую удобную игрушку, что-то вроде медвежонка, но медвежонка с головой ангела, розовыми щеками и волосами, напоминавшими золотой колокольчик. Лицо ангела, перо из крыла ангела... Почему-то вся обстановка этого восхода казалась какой-то ангельской.

”Какая необычайная вещь — половой отбор”, — сказала она наконец, оторвавшись от созерцания чудесного пера.

”Необычайная! — повторил Айвор. — Я выбираю тебя, ты выбираешь меня. Какое счастье!”

Он обнял ее за плечи, и они стояли, глядя на восток. Первые лучи солнца уже начали согревать и окрашивать бледный свет восхода. Лиловая пижама и белая пижама; они были юной и очаровательной парой. Восходящее солнце прикоснулось к их лицам. Все это было очень символично; но ведь, если уж на то пошло, в этом мире нет ничего не символического. Глубокая и прекрасная истина!

”Мне пора возвращаться на мою башню”, — сказал наконец Айвор.

”Уже?”

”К сожалению. Скоро подымутся слуги”...

”Айвор”... Последовало продолжительное и безмолвное прощанье.

”А теперь, — сказал Айвор, — я повторяю мой номер на канате”. Мэри обвила руки вокруг его шеи. ”Не надо, Айвор. Это опасно. Пожалуйста”.

В конце концов ему пришлось уступить ее просьбам. ”Хорошо, — сказал он, — я спущусь через дом и поднимусь с другой стороны”.

Через люк он исчез в темноте, которая все еще таилась внутри дома с закрытыми ставнями. Минуту спустя Айвор снова появился на дальней башне; он помахал рукой и опустился, скрывшись из вида за парпетом. Снизу из дома донеслось тонкое осиное жужжание бумильника. Он ушел как раз вовремя.

## Глава 20

Айвор уехал. Развалившись за ветровым стеклом в своем желтом седане, он мчался через сельскую Англию. Дружеские и любовные связи самого неотложного характера звали его из одного баронского зала в другой, из замка в замок, из елизаветинского особняка в георгианский дворец, разбросанные по просторам всего королевства. Сегодня в Сомерсет, завтра в Уорвикшир, в субботу в Вест Райдинг, во вторник утром в Аргил — Айвор никогда не отдыхал. Целое лето, от начала июля до конца сентября он посвящал себя своим связям; он был их мучеником. Осенью он возвращался на отдых в Лондон. Кром был лишь маленьким инцидентом, крохотным пузырьком в потоке его жизни; он уже принадлежал прошлому. К чаю он будет в Гобли, и там его встретит приветливая улыбка Зенобии. А утром в четверг — но до этого было еще очень, очень далеко. Пока что был Гобли, была Зенобия.

Согласно своему неизменному правилу, в книге гостей Крома Айвор оставил стихотворение. Он мастерски сочинил этот экспромт за те десять минут, которые предшествовали его отъезду. Дэнис и мистер Скоган медленно возвращались вместе от дворовых ворот, где они распрощались с отъезжавшим; в зале на письменном столе они увидели открытую книгу гостей с еще не успевшим просохнуть сочинением Айвора. Мистер Скоган прочел его вслух:

Волшебство незабвенных королей —  
На чаше ночи вытканый узор,  
Оно таится в душах всех вещей,  
В морской пучине, на вершинах гор,  
И в зрячих крыльях бабочки, и там,  
Где бредит оргией анахорет,  
В дожде, в беде, в причастности к слезам,  
И все ж нигде его так много нет,  
Как в той сети, что на душе горит,  
Мне эту сеть ни сбросить, ни порвать,  
Кром колокольным голосом зари  
Зовет, как призрак, вечно будет звать...  
Жестокая судьба! О, где ты, Кром?  
Душа рыдает, вспоминая дом...

”Очень мило, со вкусом и тактично, — сказал мистер Скоган, закончив читать. — Меня беспокоят лишь зрячие крылья бабочки. Вы имеете непосредственные знания о природе поэтического мышления, Дэнис, может быть, вы сможете объяснить?”

”Нет ничего проще, — сказал Дэнис. — Это красивое слово, и Айвор хотел сказать, что рисунок на крыльях похож на глаз”.

”Теперь все стало ясно, как день”.

”Иногда приходится так много страдать, — продолжал Дэнис, — из-за того, что красивые слова не всегда значат то, что им следовало бы значить. Вот например, недавно, я уничтожил целое стихотворение только потому, что слово карминативный не значит то, что ему следовало бы значить. Карминативный — это восхитительно, не правда ли?”

”Восхитительно, — согласился мистер Скоган, — и что же оно обозначает?”

”Это слово, которое я берег с самого раннего детства, — сказал Дэнис, — берег и любил. Когда мне случалось простудиться, мне обычно давали настойку корицы — совершенно бесполезно, но приятно. Ее наливали капля за каплей из узких бутылочек — золотой напиток, свирепый и пламенный. На этикетке были перечислены его достоинства, и среди прочих качеств он описывался как в высшей степени карминативный. Я влюбился в это слово. ”Разве это не карминативно?” — говорил я, принимая лекарство. Казалось, оно так чудесно передает это ощущение внутреннего тепла, эту бодрость, эту — как бы мне выразить это? — физическую удовлетворенность собой, которые наступали после принятия настойки. Потом, когда я открыл алкоголь, ”карминативно” выражало для меня сходную, но более благородную, более духовную бодрость, которую вино вызывает не только в теле, но также и в душе. Карминативные достоинства бургундского, рома, старого бренди, Лакрима Кристи, марсалы, алеатико, портера, джина, шампанского, кларета, невыдержанного молодого вина из тосканских виноградников урожая этого года — я их сравнивал, я их систематизировал. Марсала карминативна радужно, пушисто; джин греет и в то же время покалывает и освежает. У меня была целая таблица карминативных оценок. А теперь, — Дэнис вытянул руки ладонями вверх, изображая отчаяние, — теперь я знаю, что обозначает карминативно в действительности”.

”Да, что же оно обозначает?” — с некоторым нетерпением спросил мистер Скоган.

”Карминативно, — сказал Дэнис, любовно произнося каждый слог, — карминативно. Я воображал, что оно имеет какое-то неясное отношение к *carmen-carninis* и еще более неясное к *caro-carnis* и созвучными с ними, как карнавал, карманьола. Карминативно — в этом

слове была идея пения и идея плоти, розовой и теплой с намеком на увеселения *mi-Cagete* и маскарадные празднества Венеции. Карминативно — тепло, бодрость, внутренняя зрелость — все было в этом слове. И вместо этого...”

”Ближе к делу, дорогой Дэнис, — возмутился мистер Скоган, — ближе к делу”.

”Так вот, позавчера я написал стихотворение, — сказал Дэнис, — я написал стихотворение о действии любви”.

”Другие делали то же самое до вас, — сказал мистер Скоган. — Здесь нечего стыдиться”.

”Я развивал мысль, — продолжал Дэнис, — что действие любви часто подобно действию вина, что Эрос может опьянять так же, как и Бахус. Так, например, любовь очень карминативна. Она дает нам ощущение тепла, бодрость.

”И страсть карминативна, как вино”...

Вот, что я написал. Эта строчка не только изящно звучит, в ней еще есть, льстил я себе, очень удачная сжатая выразительность. В слове карминативно было все: подробный, точный передний план, бесконечно-огромная глубина фантазии.

”И страсть карминативна, как вино”...

Я был весьма доволен. И тогда мне вдруг пришло в голову, что я, в сущности, никогда не проверял это слово по словарю. Карминативно росло вместе со мной со времени бутылки с настойкой корицы. Оно всегда принималось на веру. Карминативно — для меня это слово имело богатое содержание, как какое-нибудь огромное и сложное произведение искусства, это был целый пейзаж с фигурами людей.

”И страть карминативна, как вино”...

Впервые я доверил это слово бумаге, и вдруг почувствовал, что мне следует подвергнуть его лексикографической проверке. Маленький немецкий словарь — вот все, что у меня имелось под рукой. Я открыл на букве К, ка, кар, карм. Вот оно: карминативный — *windtreibend. Windtreibend*”, — повторил он. Мистер Скоган рассмеялся. Дэнис покачал головой. ”Увы, — сказал он, — мне было не до смеха. Для меня это был гонец главы, гибель чего-то молодого и драгоценного. Это были годы — годы детства и невинности — когда я думал, что карминативно обозначает... обозначает... просто карминативно. А теперь передо мной остаток моей жизни — день, быть может, десять

лет или полвека, когда я уже буду знать, что карминативно значит windtreibend.

О, я не тот, каким я был,  
И это навсегда...

От этого сознания делается довольно грустно”.

”Карминативно”, — сказал задумчиво мистер Скоган.

”Карминативно”, — повторил Дэнис, и некоторое время они молчали. ”Слова, — произнес, наконец, Дэнис, — слова — я сомневаюсь, сможете ли вы понять, как сильно я их люблю. Вы слишком поглощены самими вещами, идеями, людьми, чтобы понять всю красоту слов. Ваш ум устроен не так, как устроен ум литератора. Зрелище того, как Гладстон отыскивает тридцать четыре рифмы к имени Марго, скорее всего вызовет у вас чувство жалости. Конверты Малларме с их рифмованными адресами оставят вас холодным, если только не внушат сострадания; вы не можете видеть, что

Ты встанешь на дыбы, однако  
Я крикну: ”Но!” Я крикну: ”А!  
Скачи на улицу Бальзака  
Одиннадцать, к Эредиа”.

это маленькое чудо.

”Вы правы, — сказал мистер Скоган. — Не могу”.

”И вы не чувствуете их волшебства?”

”Нет”.

”Так испытывается литературный склад мышления, — сказал Дэнис, — чувство волшебства, ощущение того, что слова обладают властью. Техническая, словесная сторона литературы — это просто проявление волшебства. Слова — первое и самое великое изобретение человека. С помощью языка он создал целую новую вселенную; что удивительного в том, что он любил слова и приписывал им власть! С помощью гармонично составленных слов колдуны призывали кроликов из пустых шляп и духов из стихий. Литераторы, их потомки, продолжают их дело, складывая их словесные формулы, и трепещут от благоговения и радости перед силой созданного заклинания. Кролики из пустых шляп? Нет, их заклинания обладают более тонкой властью, ибо они вызывают чувства из пустых душ. Сформулированные с помощью их искусства, самые пресные утверждения обретают огромную значительность. Например, я предлагаю утверждение: Снова осины уснули под снегом. Самоочевидная истина, на которой даже не стоило бы задерживаться, если бы я захотел выразить ее словами : Зимой осины перестают расти. Или: De nouveau les trembles s'étaient endormis

sous la neige. Но раз я выражаю мысль как Снова осины уснули под снегом, то при всей своей самоочевидности, она становится значительной, незабываемой, волнующей. Создание чего-то из ничего силой слова — что это, если не волшебство? И, добавлю я, что это, если не литература? Половина величайшей мировой поэзии это просто *De nouveau les trembles s'étaient endormis sous la neige*, которые обрели волшебную значимость в виде Снова осины уснули под снегом. А вы не чувствуете ценности слов. Мне жаль вас”.

”Карминативное для мозгов, — задумчиво сказал мистер Скоган, — вот что вам нужно”.

## Глава 21

Взгромоздившись на четыре каменных гриба, маленький амбар на два или три фута возвышался над поверхностью зеленой изгороди. Под ним всегда была тень и сырая поросль высоких, роскошных трав. Здесь, в тени, в зеленой сырости нашла себе убежище от после-полуденного солнца семья белых уток. Одни стояли и чистили себя клювами, другие отдыхали, прижавшись длинными животами к земле, как будто прохладная трава была водой. Неожиданно раздавались короткие благожелательные звуки, и время от времени какой-нибудь заостренный хвост исполнял великолепное листовское тремоло. Внезапно их веселый покой был нарушен. Чудовищный удар потряс деревянный настил над их головой, весь амбар затрясся, и сверху на них дождем посыпались щепки и кусочки засохшей грязи. С громким, неумолкающим кряканьем утки выскочили из-под амбара, представлявшего непонятную угрозу, и продолжали свое бегство до тех пор, пока не очутились в безопасности во дворе фермы.

”Держите себя в руках, — говорила Анна. — Слышите! Вы напугали уток. Бедняжки! Еще бы не испугаться”. Она сидела на низком деревянном стуле, повернувшись боком. Ее правый локоть лежал на спинке стула, щекой она опиралась на ладонь. Ее длинное стройное тело расслабилось, выражая ленивую грацию. Она улыбалась и смотрела на Гомбольда сквозь полузакрытые веки.

”Черт вас возьми!” — повторил Гомбольд и снова топнул ногой. Он свирепо посмотрел на нее из-за наполовину неоконченного портрета, стоявшего на мольберте.

”Бедные утки!” — повторила Анна. Звук их кряканья слабо доносился издалека; потом он исчез.

”Вы что, не видите, что из-за вас я только время теряю?.. — спросил он. — Я не могу работать, когда вы здесь строите глазки и отвлекаете меня.”

”Вы не будете терять столько времени, если перестанете разговаривать и топтать ногами и для разнообразия займетесь немного рисованием. В конце концов, для чего я здесь строю глазки, если не для того, чтобы меня рисовали?”

Гомбольд издал звук, напоминающий рычание. ”Вы чудовище — сказал он убежденно. — И зачем вы меня сюда пригласили? Зачем вы мне говорите, что хотите, чтобы я писал с вас портрет?”

”Просто потому, что вы мне нравитесь — по крайней мере, когда

вы в духе — и потому, что я вас считаю хорошим художником”.

”Просто потому, — Гомбольд передразнил ее голос, — что вы хотите, чтобы я приударил за вами, а когда я это делаю — убежать и так развлекаться.”

Анна откинула назад голову и рассмеялась. ”Значит, вы думаете, что мне доставляет удовольствие необходимость уклоняться от ваших авансов! Таковы все мужчины! Если бы вы только знали, какими грубыми, ужасными, назойливыми становятся мужчины, когда они пытаются приударить, а ты этого не хочешь! Если бы вы только могли взглянуть на себя нашими глазами!”

Гомбольд схватил палитру и кисти и злобно набросился на холст. ”Теперь, я полагаю, вы начнете говорить, что не вы затеяли эту игру, что это я первый начал к вам приставать и что вы были невинной жертвой, которая тихо сидела и никогда ничего такого не делала, чтобы завлечь или заманить меня”.

”Как это снова по-мужски, — сказала Анна. — Всегда одна и та же старая история о женщине, соблазняющей мужчину. Женщина заманивает, прельщает и завлекает, а мужчина — благородный мужчина, невинный мужчина — падает жертвой. Мой бедный Гомбольд! Вы, конечно, не собираетесь снова петь эту старую песню. Это так неумно, а я всегда считала вас человеком разумным”.

”Очень приятно”, — сказал Гомбольд.

”Будьте хоть немного объективны, — продолжала Анна. — Разве вы не видите, что вы просто приписываете нам свои собственные эмоции; как это варварски наивно. Вы испытываете одно из ваших порочных желаний к какой-нибудь женщине; и если вы желаете ее сильно, то немедленно обвиняете ее в том, что она вас заманивает, намеренно возбуждает и поощряет страсть. Вы рассуждаете, как дикарь. С тем же успехом вы могли бы сказать, что тарелка земляники со сливками намеренно внушает вам чувство жадности. В девяноста девяти случаях из ста женщины так же пассивны и невинны, как эта земляника со сливками”.

”Что ж, я могу лишь сказать, что это должен быть сотый случай”, — сказал Гомбольд, не поднимая глаз.

Анна пожала плечами и вздохнула. ”Никак не могу понять, чего в вас больше: упрямства или грубости”.

Некоторое время Гомбольд рисовал молча, после чего снова заговорил. ”А тут еще Дэнис, — сказал он, возобновляя разговор, как будто он был только что прерван. — Вы и с ним ведете ту же игру. Почему бы вам не оставить в покое этого несчастного юношу?”

Неожиданно и властно в Анне вспыхнуло раздражение. ”Что касается Дэниса, то это совершенно неверно, — сказала она с возмущением. — Мне никогда и не снилось вести с ним то, что вы так мило называете ”той же игрой”. Взяв себя в руки, она добавила своим

обычным воркующим голосом, сопровождая его насмешливой улыбкой. "С каких это пор вы стали так покровительствовать бедному Дэнису?"

"Да, стал, — ответил Гомбольд с серьезным выражением, которое было каким-то слишком уж мрачным. — Я не хочу смотреть, как молодого человека..." "...увлекают по гибельному пути, — подхватила Анна, закончив предложение вместо него. — Я в восхищении от ваших чувств и, поверьте, разделяю их". Ее странно раздражало то, что Гомбольд сказал о Дэнисе. Уж это-то было совершеннейшей ложью. У Гомбольда могли быть некоторые слабые основания для упреков. Но Дэнис — нет, она никогда не флиртовала с Дэнисом. Бедный мальчик! Он очень мил. Она задумалась.

Гомбольд продолжал яростно рисовать. Настойчивость, с которой неудовлетворенное желание до сих пор отвлекало его внимание, делая продолжение работы невозможным, теперь, казалось, превратилось в какую-то лихорадочную энергию. В законченном виде, говорил он себе, портрет будт дьявольский. Он рисовал ее в той свободной позе, которую она сама приняла на первом сеансе. Она сидела, повернувшись боком, положив локоть на спинку стула. Голова и плечи были повернуты под углом к остальной части тела по направлению к зрителю, и вся ее поза выражала вялую созерцательность. Он выделил ленивые изгибы ее тела; пересекая холст, линии провисали; казалось, грация нарисованной фигуры таяла, подвергаясь какому-то медленному разложению. Рука, лежавшая на колене, была безжизненной, как перчатка. Теперь он работал над лицом; оно начинало проглядывать из холста, кукольное в своей правильности и равнодушии. Это было лицо Анны, которое было бы таким, если бы его совершенно не освещали внутренние огни мысли и чувства. Это была та ленивая, лишенная выражения маска, которая иногда была ее лицом. Портрет был ужасно похож; и в то же время это была самая злобная ложь. Да, это будет дьявольский портрет, когда он будет закончен, решил Гомбольд. Ему было интересно, что она подумает тогда.

## Глава 22

В это же послеполуденное время, ища спокойствия и тишины, Дэнис пораньше удалился в свою спальню. Он собирался работать, но это было время, когда особенно тянет ко сну, и столь недавно съеденный обед тяжело угнетал его телесные и духовные силы. В него вселился полуденный демон; Дэнис был охвачен той мрачной и безнадежной послеобеденной меланхолией, которая в старину внушала страх монахам и была им известна под названием *accidie*. Он чувствовал, подобно Эрнесту Даусону, "легкую усталость". У него было настроение написать нечто утонченное и спокойное, в квиетистском духе; нечто слегка грустное и в то же время — как бы это выразить? — слегка неопределенное. Он думал об Анне, о любви, безнадежной и недостижимой. Наверное, это была идеальная разновидность любви, безнадежная разновидность — спокойная, теоретическая разновидность любви. В своем печальном настроении, порожденном пресыщением, он мог так думать вполне серьезно. Он начал писать. Из-под его пера уже вылилось одно изящное четверостишие:

Моя печальная любовь,  
Ты луч, бледнее тех лучей,  
Что будят призраки теней  
В груди тоскующей моей

когда его внимание отвлек какой-то звук снаружи. Он выглянул из окна. Так и есть, Анна и Гомбольд вместе, разговаривают и смеются. Они пересекли передний двор и исчезли через ворота в правой стене. Это была дорога к живой изгороди и амбару; она опять собиралась ему позировать. Порыв ярости рассеял его приятно-печальную меланхолию; он гневно бросил свое четверостишие в мусорный ящик и побежал вниз. "Призраки теней", как бы не так!

В холле он увидел мистера Скогана; казалось, тот залег в засаду. Дэнис попытался ускользнуть, но тщетно. Взор мистера Скогана сверкал, как у Старого Моряка.

"Не так быстро, — сказал он, вытягивая маленькую ручку ящерицы с заостренными ногтями, — не так быстро. Я как раз шел в оранжевую погреться на солнышке. Мы пойдем вместе".

Дэнис повиновался; мистер Скоган надел шляпу, и они вышли рука об руку. На подстриженном газоне террасы Генри Уимбуш и Мэри

с серьезным видом играли в кегли. Они спустились по тисовой дорожке. Это было здесь, подумал Дэнис, на этом месте Анна упала, здесь он ее целовал, здесь — и он покраснел, снова испытывая стыд при этом воспоминании, — здесь он попытался ее нести и не смог. Жизнь была ужасной!

”Благоразумие! — сказал мистер Скоган, внезапно нарушая продолжительное молчание. — Благоразумие — вот в чем моя болезнь, и это будет также и ваша болезнь, дорогой Дэнис, когда вы состаритесь достаточно для того, чтобы быть благоразумным или неблагоразумным. В благоразумном мире я был бы большим человеком; при положении дел, которое существует в этом странном мире, я вообще ничто; для всех желаний и стремлений я не существую. Я лишь *vox et praeterea nihil*.”

Дэнис не отвечал; он думал о другом. ”В конце концов, — говорил он себе, — в конце концов, Гомбольд и красивее меня, он более предприимчив, более самоуверен; и, кроме того, он уже что-то, а у меня все еще только впереди”.

”Все, что ни делается в этом мире, делается сумасшедшими”, — продолжал мистер Скоган. Дэнис старался не слушать, но неутомимая настойчивость речи мистера Скогана постепенно завладела его вниманием. ”Такие люди, как я и каким, возможно, станете вы, никогда ничего не достигали. Мы слишком благоразумны; мы просто здраво-мыслящи. Нам не хватает важного человеческого свойства, неудержимой увлекающей мании. Люди всегда готовы послушать философов, чтобы немного развлечься, также, как они бы слушали шарманщика или шарлатана. Но действовать под руководством людей разума — никогда. Если где-нибудь и приходилось выбирать между человеком разума и сумасшедшим, мир без колебаний следовал за сумасшедшим. Ибо сумасшедший обращается к первооснове, к страсти и к инстинктам, а философы — к тому, что находится на поверхности и не является главным — к разуму”.

Они вошли в оранжерею; в начале одной из аллей стояла зеленая деревянная скамья, вдававшаяся, как залив, в ароматный континент кустов лаванды. Именно это место, несмотря на отсутствие тени и то, что вместо воздуха приходилось дышать горячим, сухим ароматом, именно это место выбрал мистер Скоган, чтобы сесть. Под лучами палящего солнца он себя чувствовал превосходно.

”Возьмите, например, случай Лютера и Эразма”. Он вынул изо рта трубку и начал ее набивать, не переставая говорить. ”Жил-был Эразм, вот уж поистине человек разума. Сначала люди его слушали — новый виртуоз играет на интеллекте, этом изящном и многогранном инструменте; они даже восхищались им, чттили его. Но разве он смог заставить их вести себя так, как он хотел — разумно, пристойно или хотя бы чуть менее по-свински, чем всегда. Нет, не смог. А затем появляется Лютер,

неистовый и страстный, сумасшедший, безумно уверенный в таких вещах, относительно которых не может быть уверенности. Он крикнул, и люди устремились за ним. Эразма больше не слушали; его поносили за его здравомыслие. Лютер — это было серьезно, Лютер — это было реально, как мировая война. Эразм был только разумом и пристойностью; будучи мудрецом, он не обладал силой, достаточной для того, чтобы заставить людей действовать. Европа пошла за Лютером и вступила в полтора столетия войн и кровавых преследований. Это грустная история”. Мистер Скоган зажег спичку. В ярком свете ее пламя было совершенно незаметным. Запах горящего табака начал смешиваться со сладковато-едким запахом лаванды.

”Если вы хотите заставить людей поступать разумно, вы должны принудить их к этому, действуя, как маньяк. Те же заповеди основателей религий стали заразительными только благодаря энтузиазму, что разумному человеку должно представляться весьма плачевным. Просто унизительно сознавать бессилие чистого разума. Разум, например, говорит нам, что единственный путь к сохранению цивилизации заключается в том, чтобы вести себя пристойно и разумно. Здравый смысл взывает и убеждает; наши правители погрязли в своем обычном свинстве, тогда как мы молчим и повинуемся. Единственная надежда на маниакальный крестовый поход; когда настанет время, я готов бить в бубен громче всех, но, в то же время, мне будет немножко стыдно самого себя. Однако, — мистер Скоган пожал плечами, и рукой, в которой была трубка, сделал жест, выражавший смирение, — бесполезно жаловаться на то, что жизнь такова, как она есть. Ясно, что без посторонней помощи разум бесполезен. Поэтому мы нуждаемся в здоровом и разумном использовании сил безумия. Мы, разумные люди, еще получим власть”. Глаза мистера Скогана блестели с необычной яркостью, и, вынув изо рта трубку, он засмеялся своим громким сухим и даже каким-то дьявольским смехом.

”Но я не хочу власти”, — сказал Дэнис. Он покорно сносил неудобства, сидя на краю скамейки, и прикрывал ладонью глаза от нестерпимого света. Мистер Скоган, прямой, как гвоздь, на другом краю, снова засмеялся.

”Все хотят власти, — сказал он. — Власти в той или иной форме. Та власть, к которой стремитесь вы, — это литературная власть. Одни люди стремятся к власти, чтобы угнетать себе подобных; вы расходуете свою жажду власти на угнетение слов, вы их сжимаете, плавите, терзаете, добываясь повинования. Но я отвлекаюсь”.

”Разве?” — слабым голосом спросил Дэнис.

”Да, — продолжал мистер Скоган, не обращая внимания, — это время придет. Мы, люди интеллекта, еще научимся запрягать безумие, чтобы оно служило разуму. Мы не можем более оставлять мир на волю случая. Мы не можем допустить, чтобы опасные маньяки,

помешанные на догме, как Лютер, или на самих себе, как Наполеон, продолжали время от времени появляться и переворачивать все вверх ногами. В прошлом это было не так важно; но наш современный механизм слишком уж деликатен. Еще несколько таких ударов, как мировая война, и вся лавочка вылетит в трубу. В будущем люди разума должны позаботиться о том, чтобы безумие мировых маньяков распределялось по соответствующим каналам, чтобы оно выполняло полезную работу, подобно тому, как горный поток приводит в движение электростанцию”...

”Которая вырабатывает энергию для освещения швейцарского отеля, — сказал Дэнис. — Вам бы следовало завершить картину”.

Мистер Скоган отмахнулся от помехи. ”Остается только одно, — сказал он. — Люди разума должны объединиться, должны составить заговор и захватить власть у безумцев и маньяков, которые управляют нами теперь. Они должны основать Рациональное Государство”.

Жара, которая медленно парализовала все умственные и телесные способности Дэниса, казалось, несла мистеру Скогану новые силы. Он говорил со все нарастающей энергией, его руки производили резкие, быстрые, точные жесты, его глаза сверкали. Твердый, сухой и непрерывный, его голос все звучал и звучал в ушах Дэниса с настойчивостью машины.

”В Рациональном Государстве, — доносились до него слова мистера Скогана, — люди будут четко разделяться на виды не по цвету глаз или форме черепов, но в соответствии со свойствами их ума и темперамента. Психиатры-эксперты, обладающие, по нынешним понятиям, чуть ли не сверхчеловеческой проницательностью, будут проверять каждого ребенка и определять его вид. Снабженный соответствующими ярлыками, ребенок получит образование, подобающее членам его вида, а сделавшись взрослым, он должен будет выполнять те функции, на которые способны человеческие существа его разновидности”.

”И сколько там будет видов?” — спросил Дэнис.

”Разумеется, очень много, — ответил мистер Скоган. — Классификация будет тонкой и совершенной. Но пророк не в состоянии входить во все подробности, да это и не его дело. Я укажу лишь три основных вида, на которых будут разделены подданные Рационального Государства”.

Он остановился, прочистил горло, кашлянул раз или два, вызвав в воображении Дэниса видение стола со стаканом и графином с водой, и длинной белой указкой для диапозитивов, лежащей на краю.

Мистер Скоган продолжал: ”Будут следующие три основных вида: Мыслящие Руководители, Люди Веры и Стадо. К Руководителям будут относиться те, кто способен мыслить, те, кто знает, как достичь определенной степени свободы и — увы, как узки рамки свободы даже для самых мудрых! — из-за духовной ограниченности их эпохи.

Избранный совет Мыслителей, выдвинутый из числа тех, кто посвятил себе проблемам практической жизни, будет управлять Рациональным Государством. В качестве орудий своей власти они будут использовать второй великий вид человечества — людей Веры, Безумцев, как я их называю, которые верят не рассуждая, страстно, и готовы умереть за свои убеждения и свои стремления. Этим бешеным с их чудовищными способностями к добру и злу теперь не будет дозволено действовать по воле случая в случайном окружении. Больше не будет ни Цезарей Борджиа, ни Лютеров, ни Магометов, больше не будет ни Джоан Сауткот, ни Комстоков. На смену старомодному человеку Веры и Страсти, этому случайному порождению жестоких обстоятельств, который мог заставить людей плакать и каяться или, с равным успехом, посылать их резать друг другу глотки, придет безумец нового типа, внешне все такой же, внешне все еще кипящий тем же искренним энтузиазмом, но как же сильно будет он отличаться от безумцев прошлого! Ибо новый Человек Веры будет расходовать свое воодушевление, свою страсть и свой энтузиазм на распространение какой-нибудь разумной идеи. Он совершенно неожиданно превратится в орудие некоего высшего разума”.

Мистер Скоган злорадно захихикал, как бы мстя энтузиастам от имени разума. ”С первых же лет, то-есть с того времени, когда психологи-эксперты определяют их место в системе, Люди Веры будут проходить курс специального обучения под наблюдением Мыслителей. Сформированные в результате длительного процесса внушения, они выйдут в мир, проповедуя и с благородной одержимостью осуществляя холодно-разумные планы Правителей наверху. Если эти планы выполнены или если идеи, бывшие полезными лет десять назад, перестали быть полезными, тогда Мыслители внушат новую вечную истину новому поколению безумцев. Основная функция Людей Веры будет заключаться в том, чтобы двигать и управлять массами — этим Третьим большим видом, состоящим из тех бесчисленных миллионов, у которых недостаточно разума или энтузиазма. Когда от стада потребуется какое-либо конкретное действие, когда будет признано, что во имя солидарности человечество следует воспламенить и сплотить какой-нибудь единой восторженной целью или идеей, тогда Люди Веры, вооруженные каким-нибудь простым, соответствующим для данного случая учением, будут направлены в массы для их обращения. В обычное время, когда высокая духовная температура крествых походов будет вредна, Люди Веры будут спокойно и ревностно выполнять большую работу по обучению. При воспитании Стада будет научно использована почти безграничная способность людей поддаваться внушению. С самого раннего детства его членов будут систематически убеждать в том, что счастье можно обрести только в труде и повиновении; их заставят поверить, что они счастливы, что они являются чрезвычайно значительными

существами и что все, что они делают, благородно и важно. Для низших видов земля опять превратится в центр вселенной, а человек — в самое значительное существо на земле. О, я завидую судьбе простого народа в Рациональном Государстве! Работая свои восемь часов в день, подчиняясь своим начальникам, уверенные в собственном величии, значительности и бессмертии, они будут удивительно счастливы, счастливее, чем люди были когда-либо. Они будут идти по жизни в состоянии радужного опьянения, от которого никогда не очнутся. В этой вечной вакханалии Люди Веры будут играть роль виночерпиев, подливая снова и снова тот греющий напиток, который Мыслители, в печальном и трезвом уединении за кулисами, будут варить для опьянения своих подданных”.

”А каково будет мое место в Рациональном Государстве?” — сонно поинтересовался Дэнис, прикрываясь ладонью от солнца.

Мгновение мистер Скоган молча смотрел на него. ”Трудно определить, на что вы пригодитесь, — сказал он наконец. — Вы не сможете заниматься физическим трудом; вы слишком независимы и не поддаетесь внушению, чтобы принадлежать к большому Стаду; у вас отсутствуют качества, требующиеся от Человека Веры. Что же до Мыслящих Правителей, то они должны быть совершенно свободны, безжалостны и проникательны”. Он остановился и покачал головой. ”Нет, я не вижу для вас места; только камера смерти”.

Глубоко уязвленный, Дэнис разразился искусственно громким гомерическим смехом. ”Меня здесь хватит солнечный удар”, — сказал он и поднялся.

Мистер Скоган последовал его примеру, и они стали медленно удаляться по узкой тропинке, задевая по пути голубые цветы лаванды. Дэнис сорвал один цветок и понюхал его; потом пошли темные листки розмарина, пахнувшие, как ладан в пустой церкви. Они миновали клумбу маков, которые сейчас стояли без лепестков; их круглые спелые коробочки были коричневыми и сухими — как полинезийские трофеи, подумал Дэнис, отубленные головы, надетые на колья. Образ понравился ему достаточно для того, чтобы поделиться им с мистером Скоганом.

”Как полинезийские трофеи...” Выраженный вслух, образ показался менее волнующим и значительным, чем в тот момент, когда он пришел ему в голову.

Наступило молчание. Нарастающей волной звуков поднялось с полей из-за оранжереи гудение уборочных машин и затем отступило, превратившись в отдаленный гул.

”Приятно сознавать, — сказал мистер Скоган, когда они медленно продвигались вперед, — что множество людей трудится в поле для того, чтобы мы могли беседовать о Полинезии. Как и вообще за все хорошее в этом мире, за досуг и культуру нужно платить. К счастью, однако,

платить должны отнюдь не те, кто пользуется досугом и культурой. Да преисполнимся мы должной благодарностью за это, дорогой Дэнис, должной благодарностью”, – повторил он и выбил пепел из трубки.

Дэнис не слушал. Он вдруг вспомнил об Анне. Она была с Гомбольдом – одна с ним в его студии. Эта мысль была нестерпима.

”Не нанести ли нам визит Гомбольду, – беззаботно предложил он, – Будет забавно взглянуть, что он сейчас делает”.

Он рассмеялся про себя, представив, как рассвирепеет Гомбольд при их появлении.

## Глава 23

Вопреки надеждам и ожиданиям Дэниса, Гомбольд совсем не расвирепел при их появлении. Напротив, он был, скорее, доволен, чем раздосадован, когда два лица — одно загорелое и острое, другое круглое и бледное — появились в проеме открытой двери. Энергия, рожденная лихорадочным раздражением, успокаивалась в нем, возвращаясь к своим чувственным истокам. Еще мгновение, и он бы опять вышел из себя, Анна осталась бы спокойной, чем привела бы его в ярость. Да, он был положительно рад их видеть.

”Входите, входите”, — гостеприимно крикнул он.

Сопровождаемый мистером Скоганом, Дэнис поднялся по лестничке и переступил через порог. Он подозрительно перевел взгляд с Гомбольда на его модель и по выражению их лиц не смог определить ничего, кроме того, что оба они, повидимому, рады посетителям. Были они действительно рады или искусно притворялись? Он колебался.

Тем временем мистер Скоган рассматривал портрет.

”Превосходно, — сказал он одобрительно, — превосходно. Даже слишком похоже на оригинал, если это возможно; да, положительно слишком похоже. Однако, я не ожидал, что вы впутаетесь во все эти психологии”. Он указал на лицо и вытянутым пальцем провел по расслабленным изгибам нарисованной фигуры. ”Я считал, что вы из тех, кто занимается исключительно уравновешенными массами и пересекающимися плоскостями”.

Гомбольд рассмеялся. ”Это не совсем верно”, — сказал он.

”Мне очень жаль, — сказал мистер Скоган. Лично я никогда не проявлял ни малейшей склонности к рисованию, но кубизм мне всегда доставлял особенное удовольствие. Мне нравится смотреть на картины, из которых совершенно изгнана природа, картины, которые являются исключительно продуктом человеческого разума. Они доставляют мне такое же наслаждение, какое я получаю от интересного рассуждения, математической задачи или технического достижения. Природа и все, что напоминает о природе — раздражает меня, она слишком обширна, слишком сложна и, главное, слишком уж бесцельна и непонятна. С произведениями человека я чувствую себя уютно; если мне хочется поразмыслить над ними, я в состоянии понять все, что когда-либо делал или думал любой человек. Вот почему я стараюсь, по возможности, всегда ездить в метро, а не в автобусе, ибо даже в Лондоне, если вы едете в автобусе, вы никуда не денетесь от зрелища хоть нескольких

заблудших творений Господа — например, неба, изредка деревьев, цветов в витринах. Но в метро вы видите лишь творения рук человеческих: листы железа, склепанные в геометрические формы, прямые линии бетона, одинаковые кафельные стены. Здесь все принадлежит человеку и является продуктом дружественного и понятного разума. Все философии и все религии — чем они являются, если не духовным Метро, прорытыми во вселенной! Не подвергаясь опасности, мы с комфортом путешествуем по этим узким тоннелям, где все по-человечески знакомо, и при этом ухищраемся забывать, что повсюду вверху и внизу, и вокруг нас простирается сплошная масса земли, бесконечная и неизведанная. Нет, лучше дайте мне Метро и Кубизм; давайте мне идеи, такие же удобные и аккуратные, простые и хорошо сделанные. И храните меня от природы, храните меня от всего, что нечеловечески огромно, сложно и неясно. У меня не хватит смелости и, главное, мне уже поздно начинать блуждания в этом лабиринте.

Пока мистер Скоган держал речь, Дэнис перебрался в дальний конец квадратной комнатки, где, продолжая сохранять свою грациозную ленивую позу, на низком стуле сидела Анна.

“Итак?” — спросил он, почти свирепо глядя на нее. О чем он спрашивал? Вряд ли он сам это знал.

Анна посмотрела на него и вместо ответа повторила его “Итак?”, но уже в другом, веселом ключе. В данный момент Дэнису было нечего сказать. В углу за стулом Анны лицом к стене стояло два или три полотна. Он выгасил их и принялся рассматривать.

“Можно мне тоже посмотреть?” — спросила Анна.

Он установил их в ряд, прислонив к стене. Чтобы видеть, Анна должна была повернуться в своем стуле кругом. Здесь было то большое полотно с человеком, упавшим с лошади, картина с цветами и небольшой пейзаж. Опершись ладонями о спинку стула, Дэнис перегнулся к ней. Из-за мольберта с другого конца комнаты продолжал доноситься голос мистера Скогана. Долгое время они рассматривали картины, ничего не говоря, или, вернее, Анна рассматривала картины, а Дэнис рассматривал, главным образом, Анну.

“Мне нравится человек и лошадь, а тебе?” — сказала она, наконец, глядя на него с вопросительной улыбкой.

Дэнис кивнул и затем странным, хриплым голосом, как будто бы каждое слово давалось ему ценой огромных усилий, он сказал: “Я люблю тебя”.

Анне и раньше довольно часто приходилось выслушивать подобные признания, и чаще всего она относилась к ним хладнокровно. Но в данном случае — может быть потому, что они были сказаны так внезапно или по какой-нибудь иной причине — слова эти неожиданно взволновали ее.

Ей удалось сказать со смехом: “Бедный Дэнис”. Но, говоря это, она покраснела.

## Глава 24

Был полдень. Спустившись из своей комнаты, где он безуспешно пытался что-нибудь написать, не имея в виду ничего конкретного, Дэнис нашел гостиную покинутой. Он уже собирался было выйти в сад, когда его взгляд упал на знакомый, но таинственный предмет — большой красный блокнот, который он так часто видел у Дженни, когда она потихоньку, деловито что-то в нем черкала. Она оставила его на подоконнике. Искушение было велико. Он взял блокнот и снял предусмотрительно стягивающую его резинку.

На обложке большими буквами было написано: "Личные записи. Не открывать". Он поднял брови. Подобные надписи делают ученики начальной школы на своих латинских грамматиках.

И сорока — воровка, и ворон — вор,  
И тот, кто эту книжку спер.

В этом есть что-то удивительно детское, подумал он и улыбнулся про себя. Он открыл блокнот. То, что он там увидел, заставило его вздрогнуть, как от удара.

Дэнис был своим самым суровым критиком; так, по крайней мере, он всегда думал. Ему нравилось считать себя безжалостным вивисектором, котрый ковыряется в трепетных недрах собственной души. Он сам для себя был лютым псом. Его слабости, его смешные стороны — никто не знал их лучше, чем он сам. В глубине души он даже вообразал, что, кроме него никто о них и не подозревает. У него как-то не укладывалось в голове, что окружающие могут смотреть на него так же, как он смотрит на них; что они могут между собой говорить о нем в тех же свободных, критических и, чтобы уж быть вполне честным, слегка ехидных тонах, в которых он привык говорить о них. В собственных глазах у него были недостатки, но привилегия видеть их предоставлялась ему одному. Для остального мира он, несомненно, был чист, как кристалл. Это было почти аксиомой.

После того, как был открыт красный блокнот, его кристальный образ грохнулся на землю и разбился вдребезги. Оказывается, он не был своим самым суровым критиком. Это было болезненное открытие.

Перед ним лежал результат скромных трудов Дженни. Карикатура на него: он читает (книга перевернута вверх ногами). На заднем

плане танцующая пара, в которой можно узнать Гомбольда и Анну. Внизу подпись: "Басня о третьем лишнем и зеленом винограде". В ужасе, Дэнис, как зачарованный, впился глазами в рисунок. Сделано было мастерски. Бессловесный, опозоренный Рувейр был виден в каждой жестоко недвусмысленной линии. Выражение лица, напускное безразличие и превосходство, смешанное с бессильной ревностью; положение, которое приняли тело и конечности, позу преувеличенного ученого достоинства, разоблачало нервно-неуверенное положение ног, повернутых носками внутрь — эти детали были ужасны. И еще более ужасным было сходство, та властная уверенность, с которой были подмечены и искусно утрированы все особенности его внешности.

Дэнис заглянул дальше в блокнот. Там были карикатуры и на других: на Присиллу и мистера Барбикью-Смита; на Генри Уимбуша; на Анну и Гумбольда; на мистера Скогана, которого Дженни представила в свете, зловещем более, чем слегка, вид у него был поистине сатанинский; на Мэри и Айвора. На них он взглянул лишь мельком. Им овладело ужасное желание узнать о себе самое худшее. Он начал переворачивать листы, задерживаясь лишь там, где изображался он сам. Ему было посвящено целых семь страниц.

"Личные записи. Не открывать". Он нарушил запрет и получил по заслугам. Он задумчиво закрыл блокнот и снова надел резинку на место. Он вышел на террасу, сделавшись печальнее и мудрее. Так вот как, подумал он, вот как Дженни пользуется свободным временем в своей уединенной башне из слоновой кости. А он-то считал ее простодушным существом, не способным критически мыслить! Кажется, дураком оказался именно он. Он не чувствовал обиды на Дженни. Нет, дело было не в самой Дженни, беда заключалась в том, что собой представляли и она, и самый факт существования красного блокнота, в том, свидетельством и непосредственным символом чего они были. Они представляли огромный мир сознания людей, окружавших его; они символизировали нечто, во что он никак не мог поверить в своем искусственном одиночестве. Он мог стоять на площади Пикадилли, мог наблюдать за толпами дефилирующих мимо него людей и воображать себя единственной по-настоящему сознательной, мыслящей индивидуальностью среди всех этих тысяч. Почему-то казалось невозможным, чтобы другие люди могли быть по-своему столь же сложными и законченными созданиями, как он. Невозможно. Однако, время от времени ему приходилось делать какое-нибудь болезненное открытие, касающееся внешнего мира и ужасающей реальности его сознания и интеллекта. Красный блокнот был одним из таких открытий, следом, оставленным на песке. Он делал несомненным тот факт, что внешний мир существует на самом деле.

Сидя на баллustrаде террасы, он некоторое время размышлял над этой неприятной истиной. Все еще не в состоянии ее прожевать,

он задумчиво побрел вниз, направляясь к бассейну. На нижней лужайке павлин и пава волочили по траве свои бранные украшения. Гнусные птицы! Их шеи, толстые и прожорливо-мясистые у основания, суживались, переходя в злобную бессмысленность безмозглых голов, пустых глаз и острых клювов. Баснописцы были правы, подумал он, когда для иллюстрации своих трактатов на темы человеческой морали брали животных. Животные напоминают людей со всей правдивостью карикатуры (Ох, этот красный блокнот!). Он швырнул щепкой в медленно проходящих птиц. Они бросились к ней, думая, что это еда.

Он прошел мимо. Глубокая тень гигантского падуба поглотила его. Огромным деревянным осьминогом он распростер в ширь свои длинные щупальца.

В тени раскидистого дуба...

Он попытался вспомнить, кому принадлежат эти стихи, и не смог.

Кузнец, широкоплечий, грубый,  
И руки вроде обручей...

Точно, как у него. Надо будет постараться делать мюллеровскую гимнастику более регулярно.

Он опять выбрался на солнце. Перед ним лежал бассейн, отражавший в своем бронзовом зеркале голубизну и разнообразную зелень летнего дня. Глядя на него, он видел обнаженные руки Анны, ее блестящий черный купальник, ее движущиеся колени и ступни.

Люси-малютка, бедра белы,  
И пляшет конь...

О, эти лоскутья чужой работы! Когда уже он научится работать собственной головой? В самом деле, есть ли в ней хоть что-нибудь, что действительно принадлежит ему, или это только образование?

Он медленно побрел вдоль самого края воды. В маленькой бухточке, скрытой в окружающих ее тисах, он увидел Мэри, которая задумчиво сидела, опершись спиной о пьедестал мило смешной копии Венеры Медицейской работы какого-то безымянного скульптора сейченко.

"Привет!" — сказал он, потому что он проходил так близко от нее, что должен был что-нибудь сказать.

Мэри подняла голову. "Привет!" — ответила она печальным равнодушным голосом.

Атмосфера в этой беседке из темных деревьев показалась Дэнису приятно элегической. Он уселся рядом с ней в тень пудической

богини. Наступило продолжительное молчание.

В это утро за завтраком Мэри обнаружила на своей тарелке почтовую открытку с фотографией Большого парка в Гобли. Величественное георгианское строение с фасадом шириной в шестнадцать окон, с цветочными клумбами на переднем плане; огромные, гладкие лужайки постираются вправо и влево за пределы фотографии. Если тяжелые времена продлятся еще десять лет, то Гобли, так же, как и другие такие же замки, начнет превращаться в развалины. Еще пятьдесят лет, и местные фермеры забудут о том, что здесь когда-то проходила граница поместья. Замки исчезнут, как исчезли до них монастыри. Однако, в данный момент Мэри не трогали эти соображения.

На обратной стороне открытки вслед за адресом отчетливым крупным почерком Айвора было написано одно четверостишие.

Здравствуй, дева лунная, прощай, невеста солнца!  
В самом дальнем, тайном уголке души моей  
Словно перья ангела уроненные, сонно  
Скрыты блески памяти рассветов и ночей.

Затем следовал постскрипtum из трех строчек: "Не сможете ли вы попросить одну из горничных отправить мне пачку лезвий для бритвы, которую я забыл в ящике умывальника. Спасибо. Айвор."

Осененная древней позой Венеры, Мэри размышляла о жизни и любви. Избавление от подавлений, отнюдь не давшее ожидаемого душевного спокойствия, не принесло ей ничего, кроме тревоги и новых, доселе не испытанных страданий. Айвор, Айвор... Теперь она не могла без него. С другой стороны, из четверостишия на обратной стороне открытки было очевидно, что Айвор очень хорошо мог обходиться без нее. Сейчас он был в Гобли; там же была Зенобия. Мэри знала Зенобию. Она думала о последнем куплете песни, которую он пел в ту ночь в саду.

Потом, забыв про все на свете,  
Овец и пса дала б сама  
За поцелуй, что вдруг Лизетте  
Достался просто задарма!

При этом воспоминании Мэри уронила слезу; никогда в жизни она не была так несчастна, как сейчас.

Первым нарушил молчание Дэнис. "Человек, — тихо начал он печально-философским тоном, — не является самостоятельным миром. Бывают времена, когда он вступает в контакт с другими людьми, когда он вынужден считаться с другими мирами, существующими рядом с ним".

Он придумал это в высшей степени абстрактное обобщение как предисловие к интимному признанию. Это был первый шаг в разговоре, который должен был постепенно перейти на карикатуры Дженни.

”Это правда, — сказала Мэри и, обобщая в свою очередь, добавила, — Если некая особа вступает с кем-нибудь в близкие отношения, то она (или он, это, конечно, не важно) почти неизбежно должна либо страдать, либо причинять страдание”.

”Человек способен настолько увлечься созерцанием собственной персоны, — продолжал Дэнис, — что он забывает, что это зрелище открыто и для других”.

Мэри не слушала. ”Эта проблема особенно остро ощущается в вопросах пола. Если одна особа хочет вступить в интимные отношения естественным способом, то, несомненно, либо пострадает она сама, либо она причинит страдание другому. С другой стороны, избегая таких отношений, она может подвергнуть себя не менее тяжелым страданиям, которые являются следствием неестественных подавлений. Как видите, это дилемма”.

”Когда я думаю о своем случае, — сказал Дэнис, делая более решительное движение в желаемом направлении, — я поражаюсь, как мало я знаю о душевном состоянии людей вообще и, главное, что они думают обо мне, в частности. Наши мысли это запечатанные книги, которые лишь временами открываются для внешнего мира”. Он сделал жест, который слегка походил на снятие резинки.

”Это ужасная проблема, — сказала задумчиво Мэри. — Нужно сначала испытать на себе, чтобы вполне осознать, насколько это ужасно”.

”Вы правы, — кивнул Дэнис. — Нужно обладать личным опытом”. Он наклонился к ней и слегка понизил голос. ”Как раз сегодня утром, например”... — начал он, но его признания были прерваны. Сверху, со стороны дома донесся низкий звук гонга, ослабленный расстоянием до приятного гудения. Наступило время ленча. Мэри автоматически поднялась на ноги, и Дэнис, слегка уязвленный тем, что она проявила столь явное беспокойство о еде и столь слабый интерес к его духовным переживаниям, последовал за ней. Они прошли весь путь к дому, не разговаривая.

## Глава 25

”Надеюсь, всем известно, — сказал Генри Уимбуш во время обеда, — что в понедельник — Банковские Каникулы и что вам всем придется помогать на Ярмарке”.

”Боже! — воскликнула Анна, — Ярмарка — я совсем о ней забыла. Какой кошмар! Ты не можешь отменить ее, дядя Генри?”

Мистер Уимбуш вздохнул и покачал головой. ”Увы, — сказал он, — боюсь, что не могу. Я бы давно отменил ее, но требования Благотворительности суровы”.

”Мы требуем не благотворительности, но справедливости”, — мятежно пробормотала Анна.

”Кроме того, — продолжал мистер Уимбуш, — ярмарка уже превратилась в традицию. Дайте-ка вспомнить... Нынче исполняется двадцать два года с тех пор, как мы все это начали. Тогда она выглядела вполне скромно. Теперь же...” — он развел руками и умолк.

То, что мистер Уимбуш продолжал терпеть эту ярмарку, было ярким свидетельством его гражданских чувств. Вначале Благотворительная Ярмарка в Кроме была чем-то вроде благотворительного базара, который пользовался популярностью. Затем все это превратилось в шумное предприятие с каруселями, бросанием в цель кокосовых орехов и всевозможными интермедиями — самая настоящая ярмарка на широкую ногу. Чтобы предаться праздничным развлечениям, в парк стекались люди из местного прихода св. Варфоломея, из соседних сел, а часть даже из столицы графства. Местная благотворительная школа неплохо на этом наживалась, и это была единственная причина, мешавшая мистеру Уимбушу, для которого Ярмарка была источником периодических и никогда не ослабевающих страданий, положить конец этому неудобству, из-за которого каждый год опустошались его парк и сад.

”Я уже сделал все приготовления, — продолжал Генри Уимбуш. — Завтра установят часть больших палаток. В воскресенье придут качели и карусель”.

”Значит, отступать некуда, — сказала Анна, обращаясь к остальным. — Вам всем придется что-нибудь делать. В виде особого одолжения вам позволяется самим избрать себе ярмо. Я буду трудиться в чайной палатке, как всегда, тетя Присилла...”

”Дорогая, — сказала миссис Уимбуш, прервав ее, — у меня есть заботы поважнее, чем Ярмарка. Но можешь не сомневаться, что, когда

наступит понедельник, я сделаю все, от меня зависящее, чтобы ободрить фермеров”.

”Чудесно, — сказала Анна. — Тетя Присилла будет ободрять фермеров. Что будете делать вы, Мэри?”

”Я ничего не буду делать, если мне придется стоять и смотреть, как люди едят”.

”Тогда вы будете присматривать за детскими развлечениями”.

”Хорошо, — согласилась Мэри. — Я буду присматривать за детскими развлечениями”.

”А мистер Скоган?”

Мистер Скоган задумался. ”Будет ли мне позволено гадать? — сказал он наконец. — Мне кажется, что я смогу хорошо гадать”.

”Но вам нельзя гадать в этом костюме!”

”Разве?” — мистер Скоган подверг себя осмотру.

”Вам придется одеть специальный костюм. Вы все еще настаиваете?”

”Я готов снести все унижения”.

”Хорошо!” — сказала Анна и обратилась к Гомбольду: ”Вы должны быть нашим моментальным художником. ”Ваш портрет за пять минут. Цена — один шиллинг”.

”Жаль, что я не Айвор, — сказал Гомбольд со смехом. — За лишних шесть пенсов я смог бы прилагать портреты их духов”.

Мэри вспыхнула. ”Не стоит, — сказала она сурово, — легкомысленно говорить о серьезных предметах. И, вообще, что бы ни думали вы лично, психические исследования — достаточно серьезный предмет”.

”А что будет делать Дэнис?”

Дэнис сделал протестующий жест. ”У меня нет талантов, — сказал он. — Я буду просто одним из тех, кто носит значок в петлице и говорит людям, где чай и чтобы они не ходили по траве”.

”Нет, нет, — сказала Анна. — Ничего не выйдет. Ты должен делать еще что-нибудь”.

”Но что? Все хорошие работы уже разобрали, а я могу только лепетать стихами”.

”Что ж, значит будешь лепетать, — заключила Анна. — Ты должен написать поэму, посвященную этому событию — ”Оду на Банковские Каникулы”. Мы ее отпечатаем на станке дяди Генри и будем продавать по два пенса за экземпляр”.

”Шесть пенсов, — возразил Дэнис. — Цена будет шесть пенсов”.

Анна покачала головой. ”Два пенса, — твердо повторила она. — Больше, чем за два пенса никто не купит”.

”Теперь остается Дженни, — сказал мистер Уимбуш. — Дженни, — сказал он, повышая голос, — что ты будешь делать?”

Дэнис хотел было предложить ей рисовать карикатуры по шесть пенсов за штуку, но решил, что будет благоразумнее продолжать делать

вид, что он ничего не знает об этом ее таланте. Его мысли вернулись к красному блокноту. Возможно ли, что он в самом деле так выглядит?

”Что я буду делать, — отозвалась Джени, — что я буду делать?” На мгновение она задумчиво нахмурилась; затем ее лицо просияло, и она улыбнулась. ”В молодости, — сказала она, — я училась играть на барабане”.

”На барабане?”

Джени кивнула и в подтверждение своего сообщения застучала по тарелке ножом и вилкой, как барабанными палочками. ”Если будет какая-нибудь возможность играть на барабане...” — начала она.

”Ну конечно, — сказала Анна, — у нас имеется масса возможностей. Мы безусловно записываем тебя на барабан. Дело сделано”, — прибавила она.

”И очень хорошее дело — сказал Гомбольд. — Я с нетерпением жду праздника. Должно быть, будет весело”.

”Правильно, должно, — согласился мистер Скоган. — Но вы можете быть уверены, что не будет. Все эти праздники да каникулы всегда приносят одно лишь сожаление”.

”Ну, ну, — запротестовал Гомбольд. — Я нисколько не жалею о том, что приехал в Кром”.

”Неужели?” — обернула к нему Анна невинную маску.

”Нет, не жалею!” — ответил он.

”Я рада это слышать”.

”Дело в самой природе вещей, — продолжал мистер Скоган, — наши каникулы не могут нести ничего, кроме разочарования. Что такое каникулы? Идеальные, платонические Каникулы Каникул — это, несомненно, полная и абсолютная перемена. Вы согласны с моим определением?” — Мистер Скоган бегло окинул взглядом лица собравшихся вокруг стола. Его острый нос двигался резкими толчками через все точки окружности. Признаков несогласия не было; он продолжал: ”Полная и абсолютная перемена; очень хорошо. Но не является ли полная и абсолютная перемена именно той вещью, которой мы никогда не можем достичь — никогда, по самой природе вещей?” Мистер Скоган еще раз быстро огляделся вокруг. ”Это несомненно. Будучи самими собой, будучи представителями Homo Sapiens, будучи членами общества, — как можем мы надеяться на что-нибудь, похожее на абсолютную перемену? Мы связаны ужасающей ограниченностью наших человеческих возможностей, взглядами, которые общество может нам навязывать благодаря нашей роковой способности поддаваться внушению, нашей собственной индивидуальностью. О полных каникулах для нас не может быть и речи. Некоторые из нас мужественно вступают за них в борьбу, но нам никогда не удастся — я позволю себе выразиться метафорически — нам никогда не удастся добраться дальше Саузенда”.

”Вы нагоняете тоску”, — сказала Анна.

”Этого мне и нужно, — ответил мистер Скоган и, растопырив пальцы правой руки, продолжал: ”Взгляните, например, на меня. Какие у меня могут быть каникулы? Наделяя меня страстями и способностями, Природа оказалась ужасно скупой. И без того человеческие возможности, даже во всем их объеме, прискорбно ограничены. Мой объем — это граница внутри границы. Из десяти октав, составляющих человеческий инструмент, я могу охватить, может быть, две. Так, хоть я, повидимому, и обладаю кое-какими знаниями, у меня нет эстетического чувства; хоть у меня и есть способности к математике, я начисто лишен религиозности; хотя я от природы и склонен к любопытству, во мне мало честолюбия и я совсем не скуп. Образование еще более сузило мой диапазон. Воспитанный в обществе, я проникся его законами; я не только должен бояться уйти от них на каникулы, мне следует даже испытывать боль при одной попытке это сделать. Словом, у меня есть совесть, а также страх перед тюрьмой. Да, я знаю это по опыту. Как часто я пытался взять каникулы, уйти от себя, от собственной надоевшей природы, от невыносимого интеллектуального окружения!” Мистер Скоган вздохнул. ”Но всегда безуспешно, — добавил он, — всегда безуспешно. В молодости я все время старался — и как упорно! — обрести религиозные и эстетические чувства. Вот, говорил я себе, две потрясающе важных и волнующих эмоции. Жизнь станет богаче, теплее, ярче, вообще более интересной, если я смогу их ощутить. Я стараюсь их ощутить. Я читаю работы мистиков. Они показались мне лишь плачевной болтовней, каковыми, естественно, и должны были показаться всякому, кто не испытывает одних чувств с авторами, написавшими это. Ибо здесь имеет значение только эмоция. Книга — это лишь попытка выразить эмоцию, которая сама по себе не может быть выражена, языком разума и логики. Мистик воплощает в космологию острое ощущение у себя под ложечкой. Для других мистиков эта космология символизирует острое ощущение. Для атеиста она ничего не символизирует и поэтому кажется просто нелепой. Печальный факт. Однако, я отвлекаюсь, — одернул себя мистер Скоган. — Покончим с религиозным чувством. Что же до эстетического, то здесь я усердствовал еще больше, чтобы себе его привить. Я просмотрел все нужные книги по искусству всех частей Европы. И я смею думать, что было время, когда я знал о Таддео да Поджибонси, о загадочном Амико ди Таддео даже больше, чем Генри. Рад сообщить, что в настоящее время я забыл большую часть знаний, которые в то время я так усердно добывал; однако, не хвастаясь, могу вас уверить, что они были чудовищны. Я не говорю, конечно, что я знаю что-нибудь о негритянской скульптуре или об Италии конца семнадцатого столетия, но я обладаю, или обладал, всеобъемлющими знаниями обо всех периодах, которые были в моде перед 1900 годом. Да, повторяю, всеобъемлю-

щими. Но стал ли я благодаря этому факту хоть сколько-нибудь лучше понимать искусство вообще? Нет, не стал. Стоя перед картиной, о которой я мог рассказать всю ее известную и предполагаемую историю — дату написания, характеристику художника, влияния, вследствие которых она была написана именно так — я не испытывал того странного возбуждения, того восторга, которые, как мне известно от тех, кто это испытывает, и составляют подлинно эстетическое чувство. Я не испытывал ничего, кроме некоторого интереса к сюжету картины; а чаще, если сюжет был банальный или религиозный, я чувствовал лишь сильное томление духа. Тем не менее, я продолжал смотреть картины, должно быть, в течение десяти лет, прежде чем честно признался себе, что они просто нагоняют на меня тоску. С тех пор я отказался от всех попыток получить каникулы. Я продолжаю культивировать мое старое, пресное, будничное Я. С такой же безропотностью, с какой банковский клерк с десяти до шести выполняет свою будничную работу. Каникулы, как бы не так! Мне вас жаль, Гомбольд, если вы все еще чего-то ждете от каникул”.

Гомбольд пожал плечами. ”Возможно, — сказал он, — мои критерии не так высоки, как ваши. Но лично я обнаружил, что война это достаточно полные каникулы от всех обычных приличий и благоразумий, всех заурядных чувств и занятий, во всяком случае, для меня”.

”Да, — задумчиво согласился мистер Скоган. — В войне несомненно было что-то от каникул. Это был шаг за Сауэнд; это был Вестон Супермейр, почти Ильфракомб.

## Глава 26

Сразу же за пределами сада, на зеленых лужайках парка вырос маленький парусиновый городок с навесами и палатками. Его улицы заполнили люди; мужчины по большей части были одеты в черное — годится для праздника и для похорон, а женщины в белый муслин. Там и сям неподвижно висели трехцветные флаги. В центре палаточного городка пурпуром, золотом и хрусталем сияла на солнце карусель. В толпе ходил продавец шаров, и большой, опрокинутой гроздью разноцветного винограда вверх над его головой тянулись шары. Равномерным движением косили воздух качели, а из трубы мотора, вращавшего карусель, поднимался тонкий, слегка покачивающийся столб черного дыма.

Дэнис взобрался на верх одной из башен сэра Фердинандо и отсюда, стоя на разогревшихся от солнца свинцовых плитах и облокотившись на парапет, рассматривал сцену. Паровой орган посылал вверх чудовищную музыку. Лязг автоматических тарелок с неумолимой точностью отбивал ритм пронзительно звучащих мелодий. Создавалось благозвучие, похожее на музыкальное сокрушение стекла о медь. Значительно ниже, в басовом ключе, мощно звучала "Последняя Труба"; она дула с такой настойчивостью, с таким резонансом, что ее чередующиеся основной тон и доминанта выделялись из прочей музыки, создавая собственную мелодию, которая разносилась громкой и монотонной пилой.

Дэнис склонился над этим шумным водоворотом. Если он бросится через парапет, то это шум, наверное, подхватит его и, удерживая на весу, станет подбрасывать, как фонтан, который удерживает мяч в своей верхней точке. Ему в голову пришел еще один образ, на этот раз в метрической форме.

Моя душа — это тонкий белый лист пергамента, растянутый  
Над кипящим котлом.

Плохо, плохо. Но ему понравилась идея чего-то тонкого и растягиваемого поддувающим снизу потоком.

Моя душа — это тонкий шатер...

или еще лучше:

Моя душа — это бледная, тончайшая перепонка.

Это было уже лучше: бледная, тончайшая перепонка. В этом было нечто анатомическое. Туго натянутая, дрожащая в шумном потоке жизни. Пора было спускаться из спокойного заоблачного мира слов в водоворот действительности. Он медленно сошел вниз. "Моя душа — это бледная, тончайшая перепонка"...

На террасе стояла группа почетных гостей. Среди них находился старый лорд Молейн, напоминавший карикатуру на английского лорда из французской юмористической газеты: длинный мужчина с длинным носом, длинными поникшими усами, длинными зубам цвета старой слоновой кости. Дальше вниз шел нелепо короткий пиджак из коверкота и еще ниже — длинные, длинные ноги в жемчужно-серых брюках — ноги, которые неустойчиво сгибались в коленях и иногда вихляли в сторону, когда он шел. Рядом с ним стоял коротенький и плотно сбитый мистер Колламэй, почтенный консервативный деятель с лицом, напоминавшим римский бюст, и короткими седыми волосами. Молодые девушки не особенно любили совершать автомобильные прогулки наедине с мистером Колламэем; что касается лорда Молейна, то было странно, почему он не жил в почетном изгнании на острове Капри среди других выдающихся личностей, которые, по той или иной причине, считали для себя невозможным жить в Англии. Они разговаривали с Анной и оба смеялись — один глухо, другой громко.

Черный шелковый шар, тянувший за собой черно-белый полосатый парашют, оказался старой миссис Бадж из большого дома, расположенного по ту сторону долины. Она была маленького роста, и спицы ее черно-белого зонта угрожали глазам Присиллы Уимбуш, которая возвышалась над ней — массивная фигура, одетая в лиловое и покрытая царственной шляпой без полей, кивающие черные перья которой вызывали в воображении пышные парижские похороны по первому разряду.

Дэнис незаметно поглядывал на них из окна малой гостиной. Внезапно его глаза сделались невинными, детскими и непредубежденными. Они, эти люди, казались ему непостижимо нереальными. И все же они существовали на самом деле, они жили своей жизнью, они обладали сознанием, имели ум. Более того, он был такой же, как они. Возможно ли это? Но свидетельство красного блокнота было решающим.

Он поступил бы вежливо, если бы подошел поздороваться. Но в данный момент Дэнис не хотел говорить, да и не смог бы. Его душа была тончайшей колеблющейся бледной перепонкой. Он будет охранять ее чувствительность первозданной и девственной как можно дольше. Дэнис тихонько выбрался через боковую дверь и направился вниз в сторону парка. Когда он приблизился к шуму и суете ярмарки, его душа затрепетала. Он выждал мгновение у края, затем сделал шаг, и его поглотило.

Сотни людей, каждый с собственным, принадлежащим только ему лицом, и все они реальны и живут каждый сам по себе — эта мысль внушала тревогу. Он заплатил два пенса и посмотрел Татуированную Женщину; еще два пенса — Самая Большая в Мире Крыса. Он выбрался из помещения с Крысой как раз во-время, чтобы увидеть, как шар, наполненный водородом, вырвался на волю. За ним с ревом бросился ребенок; но идеальный, горящий опалом шар медленно поднимался и поднимался. Дэнис провожал его взглядом, пока он не исчез в слепящем солнечном свете. Если бы он только мог послать вслед за ним свою душу!..

Он вздохнул, воткнул в петлицу розетку служителя и начал проталкиваться сквозь толпу, бесцельно, но с официальным видом.

## Глава 27

Мистер Скоган устроился в маленькой палатке. Одетый в черную юбку и красный корсаж, повязав красножелтым платком голову, на которую был надет черный парик, остроносый, загорелый и морщинистый, он был похож на цыганку из "Шотландских скачек" Фрита.

Плакат, прищиленный у входа, сообщал о том, что в палатке находится "Сезострис, Экбатанская Чародейка". Сидя за столом, мистер Скоган встречал своих клиентов загадочным молчанием. Движением пальца он приказывал им садиться напротив себя и протягивать руки для осмотра. Затем с помощью увеличительного стекла и роговых очков он изучал протянутую ладонь. Он устрашающе покачивал головой, и, хмурясь и щелкая языком, рассматривал линии. Иногда он шептал, как бы про себя: "Ужасно!" или "Господи помилуй!", и, произнося это, он чертил в воздухе крест. Входявшие со смехом клиенты сразу мрачнели; они начинали принимать колдунью всерьез. У этой женщины был зловещий вид; может быть, и на самом деле в этом что-то есть, в конце концов? В конце концов, — думали они, покуда ведьма трясла головой, рассматривая их ладони, — в конце концов... И с неприятно бьющимся сердцем они ожидали, чтобы оракул заговорил. После долгого и безмолвного разглядыванья мистер Скоган неожиданно поднимал голову и хриплым шепотом задавал какой-нибудь страшный вопрос, вроде: "Вас когда-нибудь бил молотком по голове рыжий юноша?" При отрицательном ответе, а иначе едва ли могло быть, мистер Скоган кивал несколько раз и говорил: "Я так и знала. Все еще впереди, еще впереди. Но теперь уже ждать недолго". Иногда после долгого осмотра он лишь произносил шепотом:

Там, где невежество всесильно,  
Всего безумней мудрым быть...

и отказывался сообщить хоть какие-нибудь подробности будущего, слишком ужасного, чтобы на него можно было взирать без отчаяния. Ужасное искусство Сезострис имело успех. У палатки колдуньи выстроились люди, дожидавшиеся своей очереди получить удовольствие услышать собственный приговор.

Во время своего обхода Дэнис с любопытством взглянул на эту толпу просителей, явившихся к священному оракулу. У него возникло сильное желание увидеть, как мистер Скоган играет свою роль. Парусиновая палатка представляла собой довольно шаткое, сделанное

наспех соорудили. Между ее стенками и провисшей крышей зияли продольные щели и дыры. Дэнис пошел в чайную палатку и взял там деревянную скамью и маленький английский флаг. Со всем этим он поспешил назад, к палатке Сезострис. Он установил скамейку позади палатки, взобрался на нее и, приняв необыкновенно деловой вид, стал привязывать флаг к концу одного из кольев. Сквозь щели в парусине он мог видеть почти все, что делалось внутри палатки. Как раз под ним находилась голова мистера Скогана, повязанная цветным платком; его страшный шепот был отчетливо слышен. Дэнис смотрел и слушал в то время, как колдунья предсказывала убытки, смерть от апоплексического удара, разрушения от воздушных налетов в будущую войну.

“Разве будет еще война?”, — спросила старуха, которой он предсказал такой конец.

“Очень скоро”, — сказал мистер Скоган тоном спокойной уверенности.

Старуху сменила девушка, одетая в белый муслин, украшенный розовыми лентами. На ней была шляпа с широкими полями, так что Дэнис не мог видеть ее лица. Но по фигуре и округлости обнаженных рук он решил, что она молода и привлекательна. Мистер Скоган посмотрел ей на руку и прошептал:

“Ты все еще девственна”.

Девушка захихикала и воскликнула: “Господи!”

“Но это не надолго”, — гробовым голосом прибавил мистер Скоган. Девушка снова хихикнула. “Судьба, для которой мелочи имеют не меньшее значение, чем важные события, объявила о своем решении на твоей руке”. Мистер Скоган взял увеличительное стекло и начал снова исследовать белую ладонь. “Интересно, — сказал он, как бы про себя, — очень интересно. Все ясно, как день”. Он умолк.

“Что ясно?” — спросила девушка.

“Не думаю, что мне следует рассказывать”. Мистер Скоган покачал головой; висячие медные серьги, которые он привинтил к ушам, звякнули.

“Пожалуйста, ну прошу вас!” — взмолилась она.

Казалось, колдунья не слышала ее слов. “И потом, здесь еще не все ясно. Судьба не указывает, изберешь ли ты семейную жизнь и у тебя будет четверо детей, или попытаешься стать кинозвездой и у тебя их не будет вообще. Она ясно говорит лишь вот об этом довольно значительном событии”.

“О каком? О каком? Ну, пожалуйста, скажите мне!”

Фигура в белом муслине с нетерпением наклонилась вперед.

Мистер Скоган вздохнул. “Хорошо, — сказал он, — если ты так хочешь знать, так знай же. Но если с тобой приключится что-нибудь дурное, то виной этому будет твое любопытство. Слушай, слушай. Вот

что записала судьба. В следующее воскресенье в шесть часов вечера ты будешь сидеть у второго перехода на тропинке, что ведет от церкви к нижней дороге. В это время появится человек, который будет идти по тропинке". Мистер Скоган посмотрел на ее руку, как будто хотел освежить в памяти подробности сцены. "Человек, — повторил он, — маленького роста, с острым носом, не особенно красивый и не совсем молодой, но удивительный". Он с шипением подчеркнул последнее слово. "Он тебя спросит: "Вы не скажете, где здесь дорога в рай?" и ты ответишь: "Да, я провожу вас" и спустишься с ним к ореховой рощице. Я не могу прочесть, что случится потом". Он умолк.

"А это в самом деле правда?" — спросил белый муслин.

Колдунья пожала плечами. "Я говорю только то, что прочла на твоей руке. Всего хорошего. Это стоит шесть пенсов. Да, у меня есть сдача. Спасибо. Всего хорошего".

Дэнис слез со скамейки. Ненадежно и криво привязанный к колу флаг безвольно повис в безветренном воздухе. "Жаль, что я не могу так устраиваться!" — подумал он, относя скамейку в чайную палатку.

За длинным столом сидела Анна и наливала из чайника в толстые белые чашки. На столе перед ней лежала аккуратная стопка отпечатанных листов. Дэнис взял один и любовно взглянул на него. Это было его стихотворение. Они отпечатали пятьсот копий, и листы с текстом на одной стороне выглядели очень мило.

"Ты уже много продала?" — спросил он как бы невзначай.

Анна отрицательно наклонила голову. "К сожалению, пока только три. Но я бесплатно даю один экземпляр тем, кто тратит на чай больше шиллинга. Так что во всяком случае они имеют сбыв".

Дэнис ничего не ответил и медленно вышел. Он посмотрел на лист, который был у него в руке и, продолжая идти, с удовольствием прочел стихотворение самому себе.

День каруселей, день качелей,  
Орешки, силомеры, бал,  
Стрельба по неподвижной цели...  
Кто это праздником назвал?  
Да, праздник, — чтобы в нос бумажный  
Совать бумажные цветы,  
Со щек венецианских, влажных  
Сметать смешинки пустоты?  
Кругом хохочущие маски  
(Что ж — ежегодный карнавал!)  
А снимешь маску — будешь в краске  
Стыда... О, праздник! Ты — бахвал!  
Вот по канату слон гуляет  
(Когда-то в Риме было так),

И гладиаторы не знают,  
За что их губят, кто их враг.  
Но лишь бы разорвать тупое  
Молчанье повседневных дел,  
Где все рабы, где мир — тюрьмою,  
Поденщина — его удел!  
Пой, праздник! Нет, вам непонятно  
Что значит Воля!

#### Русский снег

В цветах, в кроваво-алых пятнах,  
В тех, увядающих навек  
Багровых лепестках, что стыннут  
И гибнут в девственных снегах,  
И люди навсегда отринут  
Законы, веру, право, страх...  
Морозный воздух рвет дыханье,  
И слабый дым еще несет,  
Но там, где все ушло в молчанье,  
Снег снова розами цветет.  
Пой, праздник! Дерево Свободы  
Среди невинности и моды...  
Кривляки с красною звездой,  
В тени магической пляшите,  
И песней праздничной будите  
Смех над бесслезною землей!  
О, Воля, Воля! Плясунам  
Ответ несет глухое эхо!  
О, Воля! Ей ли не до смеха?..  
Слабеет эхо по холмам,  
Слабее смех... О, Воля, Воля!  
И смех сменился тишиной.  
Пой, праздник! Веселись и пой!

Он аккуратно сложил листок и сунул себе в карман. Вещь имела свои достоинства. Да, решительно, решительно! Однако как неприятно пахнет толпа! Он закурил сигарету. Коровы и то пахнут лучше. Через калитку в стене парка он прошел в сад. Плавательный бассейн был центром шума и оживления.

”Второй Заплыв в Соревнованиях Девушек”. Это был вежливый голос Генри Уимбуша. Его окружила толпа девушек, напоминавших тюленей в своих черных лоснящихся купальниках. Его серый котелок, гладкий, круглый и неподвижный посреди волнующегося моря, был островом аристократического спокойствия.

Придерживая свое пенсне в черепаховой оправе в нескольких сантиметрах перед глазами, он называл имена из списка.

”Мисс Долли Майлз, мисс Ребекка Балистер, мисс Дорис Гейбелл”...

Пятеро девиц выстроились вдоль кромки бассейна. Старый лорд Молейн и мистер Колламэй с живейшим интересом наблюдали со своих почетных мест.

Генри Уимбуш поднял руку. Наступило выжидательное молчание. ”Когда я скажу ”Марш” — начинайте. Марш!” — сказал он. Раздался почти одновременный всплеск.

Дэнис проталкивался сквозь толпу зрителей. Кто-то дернул его за рукав; он посмотрел вниз. Это была старая миссис Бадж.

”Рада видеть вас снова, мистер Стоун”, — сказала она своим сдобным, сильным голосом. Во время разговора она слегка задыхалась, как болонка, страдающая одышкой. Это была та самая миссис Бадж, которая, прочитав в ”Дэйли Миррор” о том, что правительство испытывает нужду в хлоритовом сланце (она так и не узнала — зачем) — сделала собрание персиковых косточек своей персональной ”лептой” в помощь сражающимся. В ее обнесенном стеной саду было тридцать шесть персиковых деревьев; кроме того, она имела четыре оранжереи, в которых можно было заниматься тепличной выгонкой. Так что она могла есть персики практически круглый год. В 1916 году она съела 4200 персиков, а косточки переслала в адрес правительства. В 1917 году военные власти призвали трех ее садовников, и по этой причине, а также потому, что это был вообще плохой год для оранжерейных деревьев, ей удалось съесть в этот критический для национальных судеб период всего 2900 персиков. В 1918 году она добилась довольно неплохих результатов и с 1 января до дня заключения перемирия съела 3300 персиков. После перемирия миссис Бадж ослабила свои усилия; теперь она съедала не более двух-трех персиков в день. Ее здоровье, жаловалась она, пострадало, но пострадало за правое дело.

Дэнис ответил на ее приветствие каким-то неясным и вежливым звуком.

”Просто любо посмотреть, как развлекается молодежь — продолжала миссис Бадж, — да и старики тоже не уступают. Посмотрите на старого лорда Молейна и милого мистера Колламэя. Ну, не приятно ли посмотреть, как они развлекаются?”

Дэнис посмотрел. Он не был уверен, что это так уж приятно. Почему бы им не пойти посмотреть бег в мешках? В данный момент оба старых джентльмена были заняты тем, что поздравляли победительницу заплыва; с их стороны это было слишком любезно; в конце концов она выиграла всего лишь заплыв.

”Прелестная малышка, а?” — сипло сказала миссис Бадж и вздохнула два или три раза.

”Да”, — кивком подтвердил Дэнис. Шестнадцать, стройна и созрела, сказал он себе и отложил эту фразу в памяти как удачную. Старый мистер Колламэй одел очки, чтобы поздравить победительницу, а лорд Молейн, опираясь на трость, наклонился вперед и в голодной улыбке показывал свои длинные зубы из слоновой кости.

”Отличное достижение, отличное”, — говорил мистер Колламэй своим глухим голосом.

Смущенной победительнице очень хотелось скрыться. Он стояла, держа руки за спиной и нервно чесала одну ногу другой. Ее влажный купальник блестел, торс из черного полированного мрамора.

”Да, очень хорошо”, — сказал лорд Молейн. Казалось, что его голос выходит сразу из-за зубов, зубной голос. Как будто вдруг заговорила собака. Он снова улыбнулся. Мистер Колламэй поправил очки.

”Когда я скажу: Марш — начинайте. Марш!”

Плюх! Стартовал третий заплыв.

”Знаете, я никак не могла научиться плавать”, — сказала миссис Бадж.

”Неужели?”

”Но я умела держаться на воде”.

Дэнис представил себе, как она держится на воде — вверх и вниз, вверх и вниз на большой зеленой волне. Надутый черный пузырь; нет, это плохо, это совсем плохо. Новая победительница принимала поздравления. Она была чудовищно коренастой и толстой. Выступавшая перед ней, длинная, с гармоничной, плавной линией от колена до груди была Евой Кранаха; но эта, эта была плохим Рубенсом.

”...марш — начинайте — марш!” — еще раз произнес формулу вежливый, ровный голос Генри Уимбуша. Нырнула еще одна партия девиц.

Дэнис несколько утомился поддерживать беседу с миссис Бадж и кстати вспомнил, что его долг распорядителя призывает его в другое место. Он протолкался через ряды зрителей и пошел по дорожке, которая оставалась свободной позади них. Дэнис снова думал о том, что его душа — бледная, тончайшая перепонка, но внезапно вздрогнул, услышав тонкий свистящий голос, говоривший, очевидно, прямо над его головой и произнесший единственное слово: ”Омерзительно!”

Он быстро поднял голову. Дорожка, по которой он шел, проходила под стеной подстриженных тисов. Почва за ними круто поднималась к подножию террасы и дома. Стоя на верхней площадке, можно было легко заглянуть через темную изгородь. Посмотрев вверх, Дэнис увидел две головы, выделявшиеся над тисовым забором прямо над ним. Он узнал железную маску мистера Бодихэма и бледное, бесцветное лицо его жены. Они смотрели через его голову, через головы зрителей на состязания по плаванию.

”Омерзительно!” — повторила миссис Бодихэм с тихим присвистом.

Пастор повернул свою железную маску к густой синьке неба. "Когда же? — сказал он как бы про себя, — когда же?" Он опять опустил глаза и его взгляд упал на запрокинутое любопытное лицо Дэниса. Последовало быстрое движение, и мистер и миссис Бодихэм скрылись из виду за живой изгородью.

Дэнис продолжал свою прогулку. Он забрел за карусель через заполненные толпой улицы палаточного городка; среди шума и смеха в смятении трепетала перепонка его души. На площадке, огороженной канатами, Мэри руководила детскими развлечениями. Вокруг нее носились маленькие существа, издававшие пронзительные вопли, от которых звенело в ушах; другие цеплялись за юбки или штаны своих родителей. Лицо Мэри горело от жары; проявляя колоссальную энергию, она заправляла бегом на трех ногах. Дэнис восхищенно наблюдал.

"Я восхищен, — сказал он, подойдя к ней сзади и касаясь ее руки. — Никогда еще не видел подобной энергии".

Она повернула к нему лицо, круглое, красное и честное, как сдившееся солнце; когда она двигала головой, золотой колокольчик ее волос беззвучно качался и трепетал прежде, чем остановиться.

"Знаете, Дэнис, — сказала она серьезно тихим голосом, несколько задыхаясь, — знаете, здесь есть женщина, которая родила троих детей за тридцать один месяц".

"Неужели", — сказал Дэнис, делая быстрые вычисления в уме.

"Это ужасно. Я ей сказала о Мальтузианской Лиге. В самом деле, следует"...

Но внезапно раздался еще один мощный металлический вопль, который свидетельствовал о том, что кто-то выиграл бег. Мэри опять оказалась в центре опасного водоворота. Пора уходить, подумал Дэнис; если он будет оставаться здесь слишком долго, его могут попросить что-нибудь сделать.

Он повернул назад, к палаточному городку. Мысль о чае все настойчивей возникала в его мозгу. Чай, чай, чай. Но чайная палатка была ужасно забита. С необычно мрачным выражением на красном лице Анна яростно вертела ручку бака; коричневая жидкость непрерывной струей лилась в подставляемые чашки. Присилла, величественная в своей царственной шляпе, ободряла фермеров в дальнем углу палатки. Когда наступало мгновенное затишье, Дэнис мог слышать ее глубокий веселый смех и мужской голос. Ясно, сказал он себе, что здесь не место для того, кто хочет чаю. Он нерешительно стоял у входа в палатку. Неожиданно ему в голову пришла чудесная мысль; если он вернется в дом, вернется скромно, чтоб никто не заметил, если он на цыпочках проберется в столовую и бесшумно откроет дверцы буфета — тогда! В его прохладной глубине он найдет бутылки и сифон; бутылки с кристально-прозрачным джином и с содовой водой, и тогда — о дайте мне чаши, что пьянят и радуют...

Минутой позже он уже быстро поднимался наверх по тенистой тисовой аллее. Внутри дома было восхитительно тихо и прохладно. Бережно неся большой, наполненный до краев стакан, он вошел в библиотеку. Там, поставив стакан на уголок стола, он уселся в кресло с томиком Сент-Бёва. Он считал, что ничто так не успокаивает и не умиротворяет встревоженный дух, как "Беседы по понедельникам". Сегодняшние послеполуденные впечатления были слишком грубым ударом для его тончайшей перепонки; она нуждалась в покое.

## Глава 28

К заходу солнца ярмарка стала утихать сама по себе. Пора было начинаться танцам. С одной стороны палаточного городка канатами отгородили площадку. Ацетиленовые фонари, висевшие на столбах вокруг нее, бросали резкий белый свет. Оркестр сидел в углу, и, повинуясь звукам его скрипок и труб, две или три сотни танцующих топтались по сухой земле, уничтожая остатки травы своими башмаками. Вокруг этого клочка, освещенного почти как днем, наполненного шумом и движением, ночь казалась неестественно темной. Полосы света протягивались в нее, и время от времени одинокая фигура или пара обнявшихся влюбленных пересекали яркий луч и, на мгновение вспыхнув, заявляли о своем существовании, после чего снова исчезали так же быстро и неожиданно, как и появлялись.

Дэнис стоял у входа на огороженную площадку и наблюдал за качающейся, шаркающей толпой. Медленный водоворот снова и снова подносил к нему пары танцующих, как бы проходивших перед ним в реву. Здесь была Присилла, все в той же царственной шляпе, все так же ободрявшая фермеров — на сей раз тем, что танцевала с одним из арендаторов. Здесь был лорд Молейн, оставшийся разделить бестолковую торжественную трапезу, которая в этот праздничный день сошла за обед. Он неуклюже передвигался шагками с какой-то перепуганной сельской красоткой, а его согнутые слабые колени вихляли больше, чем обычно. Мистер Скоган семенил по кругу с другой. Мэри находилась в объятиях молодого фермера с могучим телосложением; она смотрела на него снизу вверх и говорила, насколько Дэнис мог видеть, очень серьезно. О чем? — подумал он. Вероятно, о Мальтузианской Лиге. Сидя в углу в оркестре, Дженни показывала чудеса искусства на барабанах. Ее глаза сияли, она улыбалась сама себе. Казалось, целая скрытая жизнь нашла выражение в этих громких стуках, долгих раскатах и росчерках барабанного боя. Глядя на нее, Дэнис уныло вспомнил о красном блокноте; хотелось бы знать, как он выглядит со стороны сейчас. Но зрелище Анны и Гомбольда, проплывающих мимо, — Анны с почти закрытыми спящими глазами, как бы несомой на крыльях движения и музыки, — рассеяло эти заботы. Мужчину и женщину сотворил их... Вот они здесь, Анна и Гомбольд, и еще сотня пар — все они слаженно передвигаются вместе под звуки старой песни. Мужчину и Женщину сотворил их. Но Дэнис был в стороне; он один был лишен своей дополняющей противоположности. Все, кроме него, имели пару; все, кроме него...

Кто-то притронулся к его плечу, и он оглянулся. Это был Генри Уимбуш.

”Я вам никогда еще не показывал наши дубовые водосточные трубы, — сказал он. — Часть труб, которые мы выкопали, лежат совсем недалеко отсюда. Хотите, пойдем посмотрим.”

Дэнис поднялся, и они вместе вышли в темноту. Музыка за спиной сделалась слабее. Некоторые из более высоких нот исчезли вообще. Барабан Дженни и настойчивое гудение контрабаса продолжали глухо и бессмысленно отдаваться у них в ушах. Генри Уимбуш остановился.

”Вот мы и пришли, — сказал он и, вытащив из кармана электрический фонарь, навел слабый луч на две или три одиноко лежавшие в маленькой впадине в земле, почерневшие секции древесного ствола, из которых было выдолблено что-то похожее на трубы.

”Очень интересно”, — сказал Дэнис с довольно прохладным энтузиазмом.

Они уселись на траву. Слабое белое сияние, которое подымалось из-за деревьев, опоясывающих танцплощадку, указывало на ее местонахождение. От музыки остался лишь приглушенный пульс ритма.

”Я буду рад, — сказал Генри Уимбуш, — когда этот праздник, наконец, закончится”.

”Охотно верю”.

”Не знаю, почему, — продолжал мистер Уимбуш, — но зрелище множества моих братьев, находящихся в состоянии возбуждения, вызывает во мне скорее какую-то усталость, а не веселье или волнение. Дело в том, что они меня не очень-то интересуют. Понимаете? Например, я никогда не мог сильно увлечься собиранием почтовых марок. Примитивисты или книги семнадцатого столетия — это да. Это по мне. А вот марки — нет. Я ничего о них не знаю; это не для меня. Они меня не интересуют, не трогают. К сожалению, с людьми примерно то же. Я себя лучше чувствую с этими трубами”. Он кивнул головой в сторону выкопанных бревен. ”Беда в том, что о людях и событиях настоящего никогда ничего нельзя знать. Что я знаю о современной политике? Ничего. Что я знаю о людях, которых вижу вокруг себя? Ничего. Что они думают обо мне или вообще о чем бы то ни было, что они будут делать через пять минут — об этих вещах я не имею ни малейшего понятия. Откуда я знаю, может быть, через мгновение вы вдруг вскочите и попытаетесь убить меня”.

”Ну, ну”, — сказал Дэнис.

”Правда, — продолжал мистер Уимбуш, — то небольшое, что я знаю о вашем прошлом, несомненно успокаивает. Но я ничего не знаю о вашем настоящем, и ни вы, ни я ничего не знаем о вашем будущем. Это страшно; в живых людях человек имеет дело с неизвестными и непознанными величинами. Можно только надеяться узнать о них кое-что

путем целого ряда чрезвычайно неприятных и неинтересных контактов, которые требуют огромных затрат времени. То же и с текущими событиями; как я могу узнать о них хоть что-нибудь, если не посвящу годы крайне утомительному непосредственному изучению, которое снова потребует бесконечного количества крайне неприятных контактов? Нет, дайте мне прошлое. Оно не меняется, оно всегда под рукой, записанное черным по белому, вы познаете его тихо, благородно и, что самое главное, в одиночестве — благодаря чтению. Благодаря чтению я много знаю о Цезаре Борджиа, о святом Франциске, о докторе Джонсоне; за несколько недель я основательно познакомился с этими интересными личностями, и был избавлен от скучного и неприятного процесса узнавания их путем личного общения, чего я не смог бы избежать, если бы они жили сейчас. Какой веселой и радостной была бы жизнь, если бы можно было избавиться от необходимости общения с людьми! Может быть, в будущем, когда машины достигнут совершенства — ибо я признаюсь, что, подобно Годвину и Шелли, я верю в возможность совершенства, совершенства машин — тогда, может быть, тем, кто, подобно мне, желает этого, будет предоставлена возможность жить в гордом одиночестве, окруженными нежной заботой молчаливых и изящных машин и в полной безопасности от человеческого вторжения. Это прекрасная мысль”.

”Прекрасная, — согласился Дэнис. — Но как насчет желательных человеческих контактов, таких, как любовь, дружба?”

Черный силуэт на темном фоне покачал головой. ”Удовольствия, даваемые даже этими контактами, сильно преувеличены, — сказал вежливый ровный голос. — Мне кажется сомнительным, равноценны ли они удовольствиям уединенного чтения и размышления. Человеческое общение столь высоко ценилось в прошлом, потому что умение читать встречалось не часто, а книг было мало, и их было трудно производить. Следует помнить, что мир только сейчас становится грамотным. По мере того, как чтение делается все более и более обычным и распространенным явлением, все большее число людей начинает понимать, что книги могут дать им все преимущества общения с людьми без его нестерпимой скуки. В настоящее время в поисках наслаждения люди стремятся соединиться в большие стада и производить шум; в будущем их естественной тенденцией будет стремление к уединению и спокойствию. Книги — это лучший способ познания человечества”.

”Иногда я думаю, что, может быть, это верно”, — сказал Дэнис; ему хотелось знать, танцуют ли Анна и Гомбольд все еще вместе.

”Вместо чего, — сказал мистер Уимбуш со вздохом, — я должен пойти посмотреть, все ли в порядке на танцплощадке”. Они поднялись и медленно двинулись в сторону белого сияния. ”Если бы все эти люди были мертвы, — продолжал мистер Уимбуш, — тогда это празднество было бы необыкновенно занятым. Не было бы ничего приятнее, чем

прочитать в хорошо написанной книге о бале на открытом воздухе, данном сто лет назад. Можно было бы сказать: очаровательно! как чудесно и как забавно! Но если бал состоится сейчас, когда сам оказываешься его участником, то видишь вещи в их истинном свете. Оказывается, что это всего лишь вот что. "Он махнул рукой в сторону ацетиленовых огней. "В юности, — продолжал он после паузы, — я совершенно случайно оказался участником ряда необычайно фантастических любовных интриг. Романист мог бы сделать на них состояние, и даже, если бы я, с моим убогим стилем, рассказал вам подробности, вас изумила бы эта романтическая повесть. Но уверяю вас, что в то время, когда они происходили — эти романтические приключения — они казались мне не более и не менее волнующими, чем любое другое событие действительности. Вскрабкаться ночью по веревочной лестнице в окно третьего этажа старого дома в Толедо казалось мне в то время, когда я в действительности совершал этот довольно опасный подвиг, делом таким же простым, таким же само собой разумеющимся, таким же... как бы это сказать... таким же обыденным, как сесть в 8.52 на поезд из Сарбитона и отправиться в понедельник утром на работу. Приключения и романтика приобретают свои приключенческие и романтические качества только, когда они получены из вторых рук. Испытайте их сами, и они будут лишь частицей жизни, как и все остальное. В литературной обработке они обретают такое же очарование, каким обладал бы и этот мрачный бал, если бы мы отмечали его трехсотлетие". Они уже подошли ко входу на огороженную площадку и стояли там, моргая от слепящего белого света. "О, если бы!" — прибавил Генри Уимбуш.

Анна и Гомбольд все еще танцевали вместе.

## Глава 29

Был одиннадцатый час. Танцующие уже разбрелись, и выключались последние лампы. Завтра снимут палатки, погрузят на лошадей и увезут разобранную карусель. Площадка вытоптанной травы, жалкая коричневая заплатка на широком зеленом фоне парка — вот все, что останется. Кромская ярмарка закончилась.

У края бассейна задержались две фигуры.

”Нет, нет, нет, — говорила Анна задышающимся шепотом, отклоняясь назад и ворочая головой из стороны в сторону, стараясь избежать поцелуев Гомбольда. ”Нет, прошу вас. Нет”. В ее громком голосе уже был приказ.

Гомбольд немного ослабил объятие. ”Почему? — сказал он. — Я хочу”.

Внезапно рванувшись, Анна освободилась. ”Ничего не выйдет, — резко ответила она. — Вы хотели самым бессовестным образом воспользоваться своим преимуществом надо мной.”

”Бессовестным образом?” — повторил Гомбольд, искренне удивленный.

”Да, бессовестным образом. Вы нападаете на меня после того, как я в течение двух часов танцевала, когда я все еще пьяна от движения и у меня кружится голова, когда я потеряла голову, когда у меня не осталось рассудка, а лишь тело, полное ритма! Это так же дурно, как овладеть женщиной, которую вы напоили или усыпили!”

Гомбольд сердито засмеялся. ”Назовите меня растрителем, и покончим на этом”.

”К счастью, — сказала Анна, — теперь я полностью отрезвела, и если вы снова попытаетесь меня целовать, то получите по физиономии. Не пройтись ли нам пару раз вокруг бассейна? — прибавила она. — Ночь прелестна”.

Вместо ответа Гомбольд издал какой-то раздраженный звук. Они медленно двинулись бок о бок.

”Что мне нравится в картинах Дега...” — начала Анна самым обычным, спокойным тоном.

”Будь проклят Дега!” — почти крикнул Гомбольд.

С того места, где он стоял, в отчаянии облокотившись на парапет террасы, Дэнис видел их, две бледные фигуры на клочке, залитом лунным светом, далеко внизу у края бассейна. Он видел начало того, что обещало быть бесконечным страстным объятием и, увидев это, он

убежал. Это было уже слишком; он не мог больше выдержать. Он чувствовал, что еще мгновение — и он разразится безудержными рыданиями.

Ничего перед собой не видя, он ворвался в дом и едва не налетел на мистера Скогана, который ходил взад и вперед по залу и курил заключительную трубку.

“Привет!” — сказал мистер Скоган, хватая его за руку; ошеломленный, едва понимая, что он делает и где находится, Дэнис мгновение стоял, как лунатик. “В чем дело? — продолжал мистер Скоган. — Вы в страхе, расстроены, страдаете”.

Дэнис, не отвечая, затряс головой.

“Мировая скорбь, а?” — мистер Скоган похлопал его по плечу. — Мне известно это чувство, — сказал он. — Это весьма печальный симптом. “К чему это? Все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, если все ждет одна участь?” Да, да, я в точности знаю, что вы чувствуете. Весьма печально, когда позволяешь себе печалиться. Но, в таком случае, зачем позволять себе печалиться? В конце концов, все мы знаем, что конечной цели не существует. Но какое это имеет значение?”

В этом месте лунатик внезапно проснулся. “Что? — сказал он, моргая и хмурясь на своего собеседника. — Что?” Затем, выравшись, он помчался вверх по лестнице, перепрыгивая сразу через две ступеньки.

Мистер Скоган подбежал к основанию лестницы и послал ему вслед: “Это не имеет значения, совершенно никакого. Все равно жизнь прекрасна, всегда, при каждом обстоятельстве, при каждом обстоятельстве”, — прибавил он, повышая свой голос до крика. Но Дэнис был уже далеко за пределами слышимости, а даже если бы он и услышал, то в этот вечер его душа все равно была невосприимчива к утешениям философии. Мистер Скоган сунул трубку в рот и снова принялся задумчиво мерить шагами комнату. “При любых обстоятельствах”, — повторил он себе. Прежде всего, это было безграмотно; было ли это правдой? И верно ли, что жизнь таит награду в самой себе? Он задумался. Когда его трубка догорела и стала вонять, он выпил джина и пошел спать. Через десять минут он уже спал глубоким сном праведника.

Дэнис механически разделся и, одетый в ту пижаму из цветастого шелка, которой он так справедливо гордился, улегся на кровать лицом вниз. Время шло. Когда, наконец, он поднял голову, то увидел, что свечка, которую он оставил зажженной на ночном столике, догорела почти до подсвечника. Он взглянул на часы; было почти полвторого. У него болела голова, в сухих от бессоницы глазах он чувствовал боль, как будто их расцарапали изнутри, а в ушах била кровь в громкий барабан артерий. Он встал, открыл дверь, на цыпочках бесшумно прокрался по коридору и начал подниматься по лестнице на верхний этаж. Войдя в помещение для слуг, находившееся под крышей, он

заколебался, затем, повернул направо и открыл маленькую дверцу в конце коридора. За ней находилась кладовка, похожая на шкаф. Здесь было очень темно, жарко, душно и пахло пылью и старой кожей. Он осторожно двинулся во мрак, нащупывая дорогу руками. Как раз из этой каморки лестница шла вверх к свинцовой крыше западной башни. Дэнис нашел лестницу и стал подниматься по ступенькам; он бесшумно поднял дверцу люка над головой; над ним было небо, залитое лунным светом; он вдохнул свежий, прохладный воздух ночи. Через мгновение он уже стоял на крыше, всматриваясь в тусклый бесцветный пейзаж и глядя перпендикулярно вниз на террасу, находившуюся в семидесяти футах от него.

Зачем он забрался в это высокое, заброшенное место. Чтобы смотреть на луну? Чтобы покончить с собой? Он и сам не знал. Смерть — когда он подумал о ней, на его глаза навернулись слезы. Его страдания обрели некоторую торжественность; он поднимался на крыльях какого-то восторга. В таком настроении он мог бы сделать почти все, даже глупость. Он подошел к дальнему парапету; здесь падение было отвесным и непрерывным. Хороший прыжок, и, наверно, можно было бы, не задев, миновать узкую террасу и, пролетев еще тридцать футов, разбиться внизу о землю, выжженную солнцем. Он остановился на углу башни, глядя то вниз, в темную пропасть, то вверх, на редкие звезды и убывающую луну. Он взмахнул рукой и пробормотал что-то, он сам впоследствии не мог вспомнить, что; но то, что он сказал это вслух, придало его словам какую-то странно ужасную значительность. Потом он еще раз заглянул в бездну.

“Что вы здесь делаете, Дэнис?” — спросил голос, откуда-то сзади, очень близко от него.

От неожиданного испуга Дэнис вскрикнул и едва не упал через парапет на самом деле. Его сердце страшно билось и, когда, придя в себя, он повернулся в направлении голоса, он был бледен.

“Вы больны?”

В глубокой тени, сгустившейся под восточным парапетом башни, он увидел что-то, чего раньше не заметил — продолговатый контур. Это был матрас, и на нем кто-то лежал. С той первой памятной ночи на башне, Мэри все время спала здесь; это было своего рода демонстрацией верности.

“Я испугалась, — продолжала она, — когда проснулась и увидела, как вы там машете руками и бормочете. Господи, что вы там делали?”

Дэнис трагически рассмеялся. “В самом деле, что!” — сказал он. Если бы она вот так не проснулась, он бы разбилась в лепешку и лежал бы у подножья башни; сейчас он был в этом уверен.

“Надеюсь, вы не собирались посягнуть на меня?” — осведомилась Мэри, слишком быстро переходя к выводам.

”Я не знал, что вы здесь”, — сказал Дэнис, смеясь еще более горько и театрално, чем раньше.

”Что случилось, Дэнис?”

Он уселся на край матраса и вместо ответа продолжал все так же жутко и неестественно смеяться.

Через час он уже лежал, положив голову Мэри на колени, а она, с нежной, чисто материнской заботливостью пропускала сквозь пальцы его спутанные волосы. Он поведал ей все, все: свою безнадежную любовь, ревность, отчаяние, самоубийство — как-будто волей провидения отверщенное благодаря ее вмешательству. Он торжественно обещал ей никогда больше не думать о самоуничтожении. И теперь его душа плавала в светлой печали. Она купалась в бальзаме сочувствия, который столь щедро изливала на него Мэри. Но Дэнис обрел спокойствие и даже какое-то счастье, не только принимая сочувствие; он также и выказывал его. Ибо, если он рассказал Мэри все о своих страданиях, то и Мэри, в ответ на его признание, рассказала ему в свою очередь все, или почти все, о своих.

”Бедная Мэри!” — ему было очень жаль ее. И все же она могла бы догадаться, что Айвор не был подлинным монументом постоянства.

”Что ж, — сказала она, — нужно делать вид, что ничего не случилось”. Ей хотелось плакать, но она ни за что не позволит себе быть слабой. Наступило молчание.

”Вы думаете, — спросил неуверенно Дэнис, — вы в самом деле думаете, что она... что Гомбольд...”

”Я в этом уверена”, — ответила Мэри решительно. Наступила еще одна длинная пауза.

”Я не знаю, что мне теперь делать”, — сказал он, совершенно подавленный.

”Вам лучше всего уехать, — посоветовала Мэри. — Это самое верное и самое разумное.”

”Но я договорился, что пробуду здесь еще три недели”.

”Вы должны придумать предлог”.

”Кажется, вы правы”.

”Конечно, права, — сказала Мэри, к которой возвращались ее твердость и самообладание. — Вы не можете так жить дальше, не так ли?”

”Нет, я не могу так жить дальше”, — повторил он за ней.

Необыкновенно практичная, Мэри составила план действий. Вдруг во мраке церковные часы пробили три раза.

”Вы должны сейчас же идти спать, — сказала она. — Я и не подозревала, что уже так поздно”.

Дэнис сполз по приставной лестнице и осторожно спустился по скрипящим ступенькам. В его комнате было темно; свеча давно уже полностью растаяла. Он лег в постель и почти сразу же заснул.

## Глава 30

Дэниса звали, но, несмотря на поднятые шторы, он снова погрузился в то дремотное, полусонное состояние, когда сон становится физическим наслаждением, которым упиваются почти сознательно. Он мог бы еще час оставаться в этом состоянии, если бы его не потревожил сильный стук в дверь.

”Войдите, — пробормотал он, не открывая глаз. Замок щелкнул, чья-то рука схватила его за плечо и начала грубо трясти.

”Вставайте, вставайте!” Моргая, он с трудом раздвинул веки и увидел стоящую над ним Мэри, розовощекую и серьезную.

”Вставайте! — повторила она. — Вам нужно пойти послать телеграмму. Разве вы забыли?”

”О Боже!” Он сбросил одеяло; его мучительница удалилась.

Дэнис оделся быстро как только мог и побежал по дороге к сельской почте. Когда он вернулся, в нем так и светилось удовлетворение. Он послал длинную телеграмму, которая через несколько часов повлечет за собой ответ; его вызовут назад, в город, без промедлений — по неотложному делу. Дело сделано, совершен решительный поступок — а он так редко совершал решительные поступки; он был доволен собой. На завтрак он явился с сильно возбужденным аппетитом.

”Доброе утро, — сказал мистер Скоган. — Надеюсь, вам лучше”.

”Лучше?”

”Вчера вечером вас несколько тревожили мировые проблемы”. Дэнис попытался свести обвинение к шутке. ”Неужели?” — спросил он беспечно.

”Я бы хотел, — сказал мистер Скоган, — чтобы мне больше не о чем было беспокоиться. Я был бы счастливым человеком”.

”Человек счастлив лишь в действии”, — отчеканил Дэнис, думая о телеграмме.

Он выглянул в окно. Высоко в небе плыли большие багровые облака причудливой формы. Ветер качнул деревья, и их потревоженная листва засветилась и заблестела на солнце, как будто она была сделана из металла. Все казалось необыкновенно красивым. При мысли о том, что он скоро покидает всю эту красоту, он на мгновение ощутил острую боль; но он себя успокоил воспоминанием о том, как решительно он действовал.

”Действие”, — повторил он вслух и, перейдя к буфету, положил себе вкусную смесь бэкона и рыбы.

После завтрака Дэнис перебрался на террасу и, усевшись там, возвел ”Таймс” в качестве могучего бастиона против возможных атак мистера Скогана, который обнаруживал неукротимое желание продолжать разговор о Вселенной. Сидя в безопасности за хрустящими страницами, он размышлял. В свете этого сверкающего утра его вчерашние ощущения казались ему какими-то далекими. И что с того, что он видел, как они обнимались при лунном свете? Может быть, это еще ничего не значит. А даже если и значит, то почему он не может остаться? Он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы остаться, достаточно сильным, чтобы держаться в стороне, быть безучастным, просто близким знакомым. И даже, если он и не окажется достаточно сильным...

”Как вы думаете, в котором часу прибудет телеграмма?” — неожиданно спросила Мэри, нападая на него поверх газеты.

Дэнис виновато вздрогнул. ”Понятия не имею”, — сказал он.

”Я спросила только потому, — сказала Мэри, — что в 3.27 есть очень удобный поезд, и было бы неплохо, если бы вы смогли поспеть к нему, не правда ли?”

”Очень неплохо”, — неуверенно согласился он. У него было такое чувство, как будто он договаривался насчет собственных похорон. Поезд отходит от Ватерлоо в 3.27. Цветов не надо... Мэри удалилась. Ну нет, будь он проклят, если позволит вот так спровадить себя на кладбище. Будь он проклят. Зрелище мистера Скогана, который с голодным выражением лица выглянул из окна гостиной, снова заставило его поспешно раскрыть ”Таймс”. Долгое время он держал газету раскрытой. Наконец, опустив ее, чтобы еще разок незаметно окинуть взглядом окрестности, он увидел перед собой, и с каким изумлением!, легкую, веселую, насмешливую улыбку Анны. Она стояла перед ним — женщина, которая была деревом — ее грациозно покачивающееся тело застыло в позе, которая сама казалась движением.

”Ты здесь давно стоишь?” — спросил он, когда его изумление прошло.

”О, наверное с полчаса”, — сказала она весело. — Ты так углубился в газету — прямо с головой. Мне не хотелось тебя трогать.”

”Ты сегодня прелестно выглядишь”, — воскликнул Дэнис. Впервые в жизни он набрался смелости произнести подобное интимное замечание.

Анна подняла руку, как бы отражая удар. ”Не пугай меня пожалуйста”. Она села на скамейку рядом с ним. Он хороший мальчик, подумала она, просто очаровательный; а назойливые приставания Гомбольда становились уже несколько утомительными. ”Почему ты не надел белые брюки? — спросила она. — Ты мне так нравишься в белых брюках”.

”Они в стирке”, — несколько резко ответил Дэнис. Эта история с белыми брюками ему совсем не нравилась. Он как раз подготавливал почву для того, чтобы перевести разговор в нужное русло, когда внезапно из дома выскочил мистер Скоган, пересек террасу с быстротой часового механизма и остановился перед скамейкой, на которой сидели они.

”Так продолжим наш интересный разговор о вселенной, — начал он. — Я все больше и больше убеждаюсь в том, что многие аспекты интересующей нас темы в сущности своей являются абстрактными... Будьте любезны, Дэнис, подвиньтесь чуть-чуть вправо”. Он вклинился между ними на скамейке. ”Не подвинетесь ли вы на несколько дюймов влево, дорогая Анна?.. Спасибо. Кажется, я сказал: абстрактными...”

”Да”, — сказала Анна. Дэнис безмолвствовал.

Телеграмма прибыла после второго завтрака, когда они пили кофе в библиотеке. Когда Дэнис брал с подноса оранжевый конверт и разрывал его, он виновато покраснел. ”Немедленно возвращайся. Срочное семейное дело”. Это было уж совсем смешно. Как будто у него есть какие-то семейные дела! Не лучше ли просто смять эту штуку и сунуть в карман, ничего не говоря? Он поднял глаза; большие голубые фарфоровые глаза Мэри серьезно и пронизывающе уставились на него. Исполненный ужасной нерешительности, он покраснел еще больше.

”Что за телеграмма?”, — многозначительно спросила Мэри.

Он растерялся. ”Боюсь, — пробормотал он, — боюсь, это значит, что мне сейчас же придется вернуться в город”. Он свирепо нахмурился на телеграмму.

”Но это нелепо, невозможно”, — воскликнула Анна. Она стояла у окна, разговаривая с Гомбольдом; но, услышав слова Дэниса, она, покачиваясь, перешла через всю комнату к нему.

”Это срочно”, — в отчаянии повторил он.

”Но ты ведь так мало здесь пробыл”, — возразила Анна.

”Я знаю”, — сказал он, совершенно несчастный. О, если бы она могла понять! Считается, что женщины обладают интуицией.

”Если он должен ехать, пусть едет”, — твердо вставила Мэри.

”Да, должен”. В поисках поддержки он снова взглянул на телеграмму. ”Понимаешь, это важное семейное дело”, — объяснил он.

Присилла поднялась со своего кресла, несколько возбужденная. ”Вчера вечером я это ясно предчувствовала, — сказала она. — Ясно предчувствовала”.

”Несомненно простое совпадение”, — сказала Мэри, устраняя миссис Уимбуш из разговора. ”В 2.37 идет очень удобный поезд”. Она посмотрела на часы, стоявшие на камине. ”У вас вполне хватит времени, чтобы собрать вещи”.

”Я сейчас же прикажу подать машину. ”Генри Уимбуш позвонил

в колокольчик. Похороны шли полным ходом. Это было ужасно, ужасно.

”Мне очень жаль, что ты едешь”, — сказала Анна.

Дэнис обернулся к ней; она в самом деле выглядела опечаленной. Он безнадежно, покорно подчинился неизбежности. Вот что выходит, когда действуешь и совершаешь решительные поступки. Стоило ему только не менять естественного хода событий... Стоило только...

”Мне будет не хватать бесед с вами”, — сказал мистер Скоган.

Мэри опять посмотрела на часы. ”Мне кажется, что вам пора идти собираться”, — сказала она.

Дэнис послушно вышел из комнаты. Больше никогда, сказал он себе, больше никогда он не пойдет ни на какие решительные действия. Камлет, Вест Баулби, Нипсвич, Спейвин, Делавар; затем все остальные станции и затем, в конце, Лондон. Мысль о дороге ужаснула его. И какого дьявола он будет делать в Лондоне, когда он туда придет? Он устало поднялся по лестнице. Пора было укладываться в собственный гроб.

Машина была уже под дверьми — катафалк. Все общество собралось, чтобы проводить его. До свиданья, до свиданья. Он механически постучал по барометру, висевшему у крыльца. Стрелка заметно передвинулась вправо. Вдруг его мрачное лицо осветила улыбка.

”Все тонет, и пора мне уходить”, — сказал он, тонко и кстати цитируя Ландора. Он быстро окинул взглядом их лица. Никто не заметил. Он забрался в катафалк.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- стр. 10 *Итальянские примитивисты* – так называют итальянских художников позднего средневековья.
- стр. 10 *Блэкпул* – курортный город на западном побережье Англии.
- стр. 11 По свидетельству Вальтера Скотта, так выразился Дж. Свифт, перечитав на склоне лет свое раннее произведение "Сказка о бочке".
- стр. 11 *Гамадриада* – лесная нимфа, живущая на дереве.
- стр. 11 *Уилки Бард* – английский эстрадный актер 20-х годов.
- стр. 12 *Таддео да Поджибонси* и "*друг Таддео*" – возм. флорентийские художники XVI века.
- стр. 12 *Сиенская школа* – Школа в итальянском искусстве раннего средневековья (XIII-XIV вв.).
- стр. 12 "*Новая мысль*" (или "Христианская наука") – религиозно-мистическое движение, возникшее в США во второй половине XIX в.; его сторонники считают, что болезни можно лечить путем религиозного внушения.
- стр. 13 "*Шпоры*", "*Вилла*" – сокращенные названия английских футбольных клубов "Тоттенхем Хотспурс" и "Астон Вилла".
- стр. 13 *Аура* – здесь: звезда, планета.
- стр. 13 *Мери Бейкер Идди* (1821-1910) – одна из основательниц "Христианской науки".
- стр. 13 *Анни Безант* (1847-1933) – английская спиритка, верила в возможность общения с загробным миром.
- стр. 19 *Профессор Радиум* – персонаж популярного в 20-х годах английского молодежного журнала "Comic cuts" (Смешной калейдоскоп").
- стр. 20 *Жан Кристоф* – герой одноименного романа Ромена Роллана.
- стр. 20 *femme supérieure* – выдающаяся женщина.
- стр. 23 *Монофизиты* – сторонники христианского религиозно-философского учения, возникшего в Византии в V в., согласно которому природа Христа считается единой, т. е., что он Бог, а не богочеловек; Ямвлих /IV в./ – философ-мистик, живший в Сирии; пытался объединить некоторые элементы учений Платона и Аристотеля; Пьетро Помпонацци (1462-1525) – итальянский философ эпохи Возрождения.
- стр. 26 *élan vital* (фр.) – жизненная сила.
- стр. 28 *Люцина* – богиня деторождения у древних римлян.
- стр. 28 *Эразм Дарвин* (1731-1802) – английский врач-естествоиспытатель и поэт, дед Ч. Дарвина.
- стр. 28 *Анна Сьюард* (1747-1809) – второстепенная английская писательница сентименталистка; ее называли Личфильдским Лебедем, по названию местности, в которой она прожила почти всю жизнь и где существовал литературный кружок, в состав которого входили А. Сьюард и Э. Дарвин.
- стр. 30 *argal* происходит от латинского ergo (следовательно), но имеет почти противоположное значение.
- стр. 32 *Голос души* – выражение из стихотворения Дж. Мильтона (1608-1674).
- стр. 33 *Нестле* – фирма, производящая продукты питания.

стр. 35 *Шекспировский календарь* – календарь с цитатами из Шекспира.  
стр. 37 *Сейченто* – этим термином называют искусство Италии XVII в, отличающееся искусственной пышностью, усложненностью и чрезмерной утонченностью.

стр. 37 *putti* – ангелочки (итал.)

стр. 41 *"Шурри"* – популярная команда игроков в крикет.

стр. 42 *Уильям Лод* – (1573-1645) – английский церковный деятель, ближайший советник короля Карла I.

стр. 42 Барбикью-Смит неправильно цитирует слова Старого герцога из второго акта комедии "Как вам это понравится".

Находит наша жизнь вдали от света  
В деревьях – речь, в ручье текущем – книгу  
И проповедь – в камнях, и всюду – благо.

Пер. Щепкиной-Куперник

стр. 54 *Джироламо Савонаролла* (1452-1498) – итальянский проповедник; выступал против официальной церкви и по приказу папы Александра Борджа повешен как еретик.

стр. 45 Во время первой мировой войны одна из английских армий разгромила турок в Палестине и овладела Иерусалимом, а другая захватила Месопотамию.

стр. 45 *Галлиполийский эпизод* (Дарданелльская операция; весна-лето 1915 г.) – неудачная попытка англо-французских войск захватить турецкий полуостров Галлиполь – ключ к проливам Босфор и Дарданеллы и к Константинополю.

стр. 46 *Армагеддон* – место, где, согласно евангелию от Иоанна, войско Господне нанесет окончательное поражение полчищам Сатаны.

стр. 46 *"Высшая критика"* – историко-литературное исследование библейских текстов.

стр. 47 В августе 1914 г. немецкие войска вторглись в Бельгию, нарушив соглашение о нейтралитете этой страны, подписанное Англией, Францией, Пруссией и Россией еще в 1839 г.; немецкий канцлер Бетман-Гольвег назвал это соглашение "клочком бумаги".

стр. 47 Согласно библейской легенде, пророк Елисей проклял детей, которые дразнили его по дороге в Вифлеем, "и тогда из леса вышли две медведицы и разорвали сорок два ребенка".

стр. 47 Согласно Библии, Бог наслал на египтян "кары египетские", за то, что фараон не позволял Моисею вывести евреев из Египта.

стр. 49 В проповеди, приписанной мистеру Бодихэму воспроизводится содержание речи, которую произнес преподобный Е. Х. Хорн на клерикальной конференции в 1916 г. и которая вскоре была напечатана. Недавно ее переиздали как приложение к брошюре того же автора "Значение воздушной войны". (прим. автора)

стр. 51 Немецкий ученый Мангольд, автор популярных книг в области сельского хозяйства.

стр. 51 Названия болезней растений.

стр. 54 *Уильям Моррис* (1834-1896) – английский поэт и художник.

- стр. 55 *Аниций Бозций* (121-180) – римский философ-неоплатоник.
- стр. 55 *Эпиктет* (около 50-138) – греческий философ-стоик.
- стр. 55 *Марк Аврелий* (121-180) – римский император, последний крупный философ-стоик.
- стр. 56 *Гварнери* – династия известных итальянских скрипичных мастеров из Кремоны (XVIIв.).
- стр. 56 Речь идет о Дж. Байроне.
- стр. 56 Очевидно, намек на Джеймса Хадсона (1800-1855) – английского дипломата, принимавшего участие в итальянском освободительном движении против Австрии.
- стр. 56 *Вильям Бекфорд* (1760-1844) – английский писатель, аристократ, построивший в своем имени оригинальный дом, "аббатство", с высокой башней (78 метров), которая вскоре рухнула на дом и разрушила его.
- стр. 56 *Вильям Скотт, герцог Портлендский* (1800-1879) – член правления Британского музея, археолог-любитель.
- стр. 56 *Генри Кавендиш* (1731-1810) – известный английский ученый, физик и химик; работал в собственной лаборатории у себя в имении; большинство трудов Кавендиша в области электричества и теплоты опубликовано через много лет после его смерти.
- стр. 57 как добропорядочные граждане (франц).
- стр. 57 *Виланелла* – пасторальная песня.
- стр. 58 Все восемь имен (кроме Тагора) принадлежат более или менее известным английским писателям, критикам и искусствоведам первой половины XX века.
- стр. 58 *Эгерия* – нимфа, покровительница беременности и родов, жена полубогини древне-римского царя Нумы Помпилия; в переносном смысле – советчица, вдохновительница.
- стр. 59 Микельанджело Меризи да *Караваджо* (1573-1610) – известный итальянский живописец-натуралист; однажды он в припадке ярости убил одного из игроков во время игры в карты.
- стр. 59 Описание картины Гомбольда очень напоминает произведение Караваджо "Видение св. Савла".
- стр. 60 Обман зрения (франц.)
- стр. 60 Предметная изобразительность.
- стр. 62 *Magnum Opus* – Великое творение (лат.)
- стр. 64 Джон Черчилль, герцог *Мальборо* (1650-1722) – английский полководец и политический деятель.
- стр. 64 Игра природы, улюдоук.
- стр. 65 Согласно Библии, сыновья Ламеха были "первыми мастерами": *Тувал* – "кузнец всех орудий из меди и железа", *Иувал* – "отец всех играющих на свирели", *Иавал* – предок "живущих в шатрах, со стадами".
- стр. 68 Вероятно, имеется в виду Джордж Стабс (1724-1806) – английский живописец и график, часто обращавшийся к охотничьим сюжетам.
- стр. 69 Старинный колледж, основанный в 1440 г. в городе Итон на берегу Темзы, где получают среднее образование дети аристократических семей.
- стр. 72 *Алессандро Страделла* (1645-1682) – итальянский композитор и певец.
- стр. 75 Брайтонский "Морской павильон" был выстроен в 1784 г. как

летний морской курорт для принца Уэльского, впоследствии короля Георга IV.

стр. 75 *Джон Лемприе* (1765-1824) – английский писатель, автор словаря античных собственных имен.

стр. 75 Районы Лондона, заселенные преимущественно творческой интеллигенцией. В частности, в Блумсбери существовал кружок писателей и художников, в состав которого входил сам Хаксли.

стр. 76 Волшебный меч в легендах о короле Артуре.

стр. 77 *Пьер де Бурдей Брантом* (1540-1614) – французский мемуарист; описал официальную и неофициальную жизнь королевского двора.

стр. 77 *Генри Хавелок Эллис* (1859-1939) – известный английский писатель и психиатр, автор семитомных "Исследований психологии секса".

стр. 79 Прозвище герцога Веллингтонского (1769-1852), английского полководца, государственного деятеля и дипломата.

стр. 81 Подавление войсками неаполитанских Бурбонов освободительного движения в Сицилии и Южной Италии в период революции 1848-1849 г.г.

стр. 81 *Стефан* (1097-1154) – король Англии, внук Вильгельма-Завоевателя.

стр. 81 ...*каратели* – речь идет о подавлении ирландского националистического движения шинфейнеров в 1921 г.

стр. 81 В результате Версальского договора (1919) Польша захватила земли со значительным немецким населением, в частности, Верхнюю Силезию и Западную Пруссию.

стр. 83 Высказывание принадлежит Бену Джонсону (1573-1673), английскому драматургу, младшему современнику Шекспира.

стр. 88 В названиях месяцев май, июнь, июль и август отсутствует буква "р". В это время устриц обычно не едят, т. к. они еще не созрели.

стр. 90 Подозрительное (франц.).

стр. 93 *Дж. Меннингем* (ум. в 1622 г.) – адвокат, автор дневника, представляющего собой интересный исторический документ (опубликован в 1868 г.).

стр. 95 Так называемая Египетская экспедиция Наполеона Бонапарта (1798-1801), которая закончилась капитуляцией французской армии в дельте Нила.

стр. 96 *Школу в Харроу* (возле Лондона) открыли в 1571 году. Вначале это была благотворительная школа для бедняков, но к концу XIX века она превратилась в аристократическое среднее учебное заведение с богатыми традициями, собственным гимном, ритуалами и т. д.

*Крайст Черч* – известный колледж в Оксфорде.

стр. 96 В 1832 г. парламент утвердил Билль о Реформе, согласно которому большинство так называемых "гнилых местечек" в провинции лишилось права выбирать депутатов в парламент.

стр. 97 Трансцендентализмом называют музыкальный стиль периода после Великой французской революции, когда на смену строгим и прозрачным классическим формам пришла музыка утонченных и вычурных форм.

стр. 99 Герои романа Жорж Санд "Индиана" бросились не в Ниагару, а в водопад на необитаемом острове Бурбон в Индийском океане.

стр. 106 *Лакрима Кристи* – сорт белого вина.

- стр. 106 *mi-Sâgete* – четверг на третьей неделе великого поста; во Франции отмечался карнавалами и народными гуляньями.
- стр. 107 *Ветрогонное* (нем).
- стр. 108 Первые строки стихотворения "О самом себе" французского поэта раннего Возрождения Клементя Маро (1496-1544).
- стр. 108 *Вильям Гладстон* (1809-1898) – английский государственный и политический деятель.
- стр. 108 *Стефан Малларме* (1842-1898) – французский поэт, один из родоначальников и теоретиков символизма. Приведено четверостишие из его цикла "Почтовый досуг", большинство стихотворений в котором представляют собой рифмованные адреса друзей поэта.
- стр. 113 *Душевная апатия* (лат.).
- стр. 113 *Эрнест Кристофер Доусон* (1867-1900) – английский поэт, главными темами стихов которого были любовь и смерть.
- стр. 113 "*Старый Моряк*" – произведение английского поэта-романтика Сэмюэля Т. Кольриджа (1772-1834). Когда Старый Моряк рассказывает о страшном проклятии, павшем на него за убийство альбатроса, его глаза пылают.
- стр. 114 *Пустой звук* (лат.).
- стр. 117 *Цезарь Борджа* (1475-1507) – итальянский государственный и политический деятель; стремился создать в Италии сильное государство, считая что для этого годятся любые средства.
- стр. 117 *Джозан Сауткот* (1750-1814) – английская религиозная фанатичка; слагала рифмованные пророчества о конце света; умерла в сумасшедшем доме.
- стр. 117 *Энтони Комсток* (1844-1915) – американский общественный деятель; посвятил более 40 лет жизни борьбе против распространения порнографии; выступал также против некоторых демократических институтов и реалистических произведений, которые считал аморальными.
- стр. 123 *Андрэ Рувейр* (1879-1962) – известный французский художник-карикатурист.
- стр. 123 "*След на песке*" – намек на событие в романе Д. Дефо "Робинзон Крузо".
- стр. 124 Денис неточно цитирует американского поэта Генри Лонгфелло, (Стихотворение "Селенье кузнеца").
- стр. 124 *И. П. Мюллер* (1866-1939) – датский спортивный деятель, автор пособий по гигиене и гимнастике.
- стр. 128 "*лепетать стихами*" – из "Послания доктору Арбетноту" Алекс. Попа.
- стр. 135 *Уильям П. Фрит* (1819-1909) – английский художник
- стр. 135 *Экбатана* – столица древней Мидии.
- стр. 135 Строки из "Оды на отдаленное будущее Итонского колледжа", английского поэта Томаса Грея (1716-1771).
- стр. 137 *Гальба* – римский император, правивший после Нерона; по рассказу Светония, еще будучи претором, он показывал народу слонов-канатоходцев во время праздника в честь богини Флоры.
- стр. 139 Старушка ошиблась: peach stone по-английски значит не только персиковая косточка, но и хлоритовый сланец.

стр. 141 Перефразированная строчка из стихотворения "Зимний вечер" Вильяма Купера (1731-1800) "...чашу, что веселит, не опьяняя".

стр. 142 *Шарль Огюстен Сент-Бев* (1804-1869) – французский критик и писатель; "Беседы по понедельникам" – 15-томный труд литературоведческого характера.

стр. 143 Цитата из Библии.

стр. 143 *Сэмюэль Джонсон* (1709-1784) – английский писатель, критик и лексикограф, автор словаря английского языка и 10-томных "Биографий поэтов".

стр. 145 *Вильям Годвин* (1756-1836) – английский политический деятель, беллетрист и критик, философ-утопист.

стр. 148 Экклезиаст.

стр. 154 *Уолтер Сэвидж Лендор* (1775-1864) – английский поэт-романтик. Денис цитирует последнюю строчку из его стихотворения "Конец".

ИЗДАТЕЛЬСТВО „АРДИС”

- Саша Соколов, МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ (1980)  
Андрей Битов, ПУШКИНСКИЙ ДОМ (1978)  
Фазиль Искандер, САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА (1979)  
Василий Аксенов, ОЖОГ (1980)  
Василий Аксенов, ОСТРОВ КРЫМ (1981)  
МЕТРОПОЛЬ. Литературный альманах (1979)  
ГЛАГОЛ. Литературный альманах (№ 1, № 2, № 3)  
Булат Окуджава, 65 ПЕСЕН (1980)  
Евгений Попов, ВЕСЕЛИЕ РУСИ (1981)  
Иосиф Бродский, ЧАСТЬ РЕЧИ (1977)  
Иосиф Бродский, КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ (1977)  
Алексей Цветков, СБОРНИК ПЬЕС ДЛЯ ЖИЗНИ СОЛО  
(1978)  
Алексей Цветков, СОСТОЯНИЕ СНА (1981)  
Семен Липкин, ВОЛЯ (1981)  
Юрий Кублановский, ИЗБРАННОЕ (1981)
- Владимир Набоков, ДАР (1975)  
Владимир Набоков, БЛЕДНЫЙ ОГОНЬ (1981)  
Владимир Набоков, ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ (1979)  
Осип Мандельштам, ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕТРАДИ (1980)  
Анна Ахматова, ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ (1979)  
Борис Пастернак, СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ (1976)  
Марина Цветаева, ВЕРСТЫ (1972)  
МАРИНА ЦВЕТАЕВА: ФОТО-БИОГРАФИЯ (1980)  
Михаил Булгаков, МАСТЕР И МАРГАРИТА (1979)  
Михаил Булгаков, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ (1981- )  
Андрей Платонов, КОТЛОВАН (1973)  
Исаак Бабель, ЗАБЫТЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (1978)